

# Записки санитара морга

**Автор:**

Артемий Ульянов

Записки санитара морга

Артемий Ульянов

Реальная жизнь

По велению судьбы (или стечению обстоятельств, если вам так угодно) автор этой книги с юных лет работал санитаром в морге. То есть день за днем хоронил свой народ. Личный опыт этого экстремального ремесла выписан им в романе так, что не отпускает читателя от первой до последней главы. Вместе с автором и его героем мы ищем ответ на вопрос: санитар – он кто? Неквалифицированный технический работник, в штатном расписании где-то рядом с дворником? Или Харон, исполняющий высшее предназначение, проводник, ведущий человека в последний путь?

У каждого своя книга.

И свои ответы на эти вопросы...

Артемий Ульянов

Записки санитара морга

© А. Ульянов, 2022

© ООО Издательство АСТ, 2022

\* \* \*

Всем моим мертвым посвящается.

От автора

(или вступление о мате)

Мой дорогой читатель!

Книга, которую ты держишь в руках, даст тебе возможность стать очевидцем множества событий, подчас весьма неординарных, трагичных, смешных и трогательных... Почти все они происходили в действительности, с реальными людьми, около пятнадцати лет назад. Люди эти – преимущественно молодые мужчины, в меру и не в меру циничные, возвращенные московскими дворами эпохи распада Советской империи, при некотором участии любящих родственников и равнодушных педагогов. Надо признать, что нецензурная лексика, а именно русский мат, является неотъемлемой частью их каждодневного обиходного языка. Есть среди них и такие, для кого разговорный русский является неотъемлемой частью каждодневной обиходной матерщины. Они крайне редко используют ее по назначению – в качестве ругательства. И с легкостью могут вести беседы на самые разные темы, употребляя в основном ненормативную лексику.

Но несмотря на реалистичность и правдивость этого повествования, которое находится в прямом родстве с документалистикой, на его страницах ты не найдешь ни единого непечатного слова. Избавленная от мата, книга обретает целый набор морально-бытовых свобод. Ее можно оставлять рядом с любопытными детьми и щепетильными стариками, не пряча в интимной темноте платяных шкафов. Заглянув на ее страницы, друзья и коллеги не заподозрят тебя в маргинальных наклонностях. Книгу можно спокойно читать в общественном транспорте, без опаски делаясь ею с тем, кто запустил в нее скучающий взгляд через твое плечо. Можно дарить самым разным людям и

читать вслух. А если книга пришлась по душе – нет необходимости доказывать скептикам, что в ней есть хоть что-то, кроме мата.

И главное. Отсутствие нецензурной лексики дает тебе, читатель, свободу солить и перчить эту историю по своему вкусу, становясь ее полноправным соавтором.

Кроме того, злые языки не смогут обвинить меня в погоне за третьесортной сенсационностью, которая помогает повысить тираж книги и придать ей фальшивой значимости.

И, прежде чем оставить тебя наедине с этим повествованием, честно признаюсь... Матерюсь я с самого детства. И когда ситуация позволяет (а иногда и требует), не отказываю себе в удовольствии обильно поперчить родной русский язык...

С искренней благодарностью

за вдумчивое чтение

Артемий Ульянов

Внимание! Все нижеследующее является художественным произведением. Все герои и события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Если вы вдруг узнали себя на страницах этой книги... уверяю, вам показалось.

Пролог

История, которая лежит ниже, впечатанная сотнями тысяч знаков в бумагу страниц, случилась со мной наяву, в теплые шелковистые июньские дни, каких-то пятнадцать лет назад, в 1995 году. Я был молод, упрям, силен и смел той ребяческой смелостью, в которой больше гормонов и завышенной самооценки,

чем истинной отваги. Жил жадно, размашисто. В погоне за полнотой каждого дня хватал столько жизни, что частенько не мог унести все ее уроки и воспоминания. А потому старался забрать с собой самые ценные, нередко ошибаясь и набивая карманы фальшивками и ядовитым опытом. В те дни лишь двадцать лет отделяли меня от родильного дома, где я увидел первые мгновения моих земных лет, мутные и перевернутые.

Все события, намертво въевшиеся в символы и строки, которые замелькают перед тобой пульсирующим калейдоскопом дней, часов и минут, происходили в течение семи суток, на северо-востоке города-героя Москвы.

Неделя... Стандартный отрезок времени, такой скоротечный и вместительный разом. Что можно успеть за неделю? Съездить к морю, вернувшись почти без загара. Переболеть гриппом. Стать на 168 часов ближе к зарплате и ровно на столько же – к могиле. Доехать на поезде до дальних сибирских городов, получить свежий номер еженедельника, пройти пешком 315 километров. Создать мир, в конце-то концов.

А что я успел за эту неделю?

...Многое. Для себя, и для тех, кто был со мною рядом, стал частью их жизненного пути. А они – частью моего. Мы навечно отпечатались друг в друге, словно сакральные письма, смысл которых сокрыт от беглого взгляда. Он откроется лишь тем, кто сможет взглянуть на них, закрыв глаза. Тогда они услышат их потаенные откровения, как слепцы слышат звуки, надежно спрятанные от зрячих.

И если ты, мой читатель, жаждешь этого знания, если мечтаешь сорвать завесу, что укрывает иной смысл покровом ежедневных банальных событий...

Тогда в путь! По изъеденному временем семидневному отрывку календаря моей жизни, который навсегда станет твоим, как только ты перевернешь последнюю страницу книги, прожив его вместе со мной.

Что ж, не будем медлить, ведь понедельник уже начался...

Сутки первые

Понедельник, 5 июня

– Большая неделя только началась, а я уже опаздываю. Начало не ахти, – на бегу бубнил я себе под нос, тяжело дыша. – Вот ведь умудрился. Если Борька на работе – все гудово. А если он тоже опоздает? Ой, кранты...

Представив себе такой исход сегодняшнего утра, я резво подбежал к метро, словно ужаленный перспективой скандала. Сунув в автомат два кружочка жетончиков, подумал: «Ну, давай, Хоронушка, не подведи». И стал спускаться в подземелье, словно эпический герой, которому обязательно надо вовремя успеть на работу.

На эскалаторе, на платформе и в вагонах я безошибочно определял братию опаздывающих. Дорожащие каждым метром, оставшимся позади, они нервно шныряли в толпе. Очутившись на платформе, вглядывались в зияющую дыру тоннеля, делая ритмичные движения рукой и как бы говоря всей ситуации «давай! давай!». В вагоне их тоже было хорошо заметно. Один такой ехал со мной. Офисная униформа, убогий галстук, перхоть.

– Извините, – говорил он вкрадчивым голосом, – вы сейчас выходите?

В ответ – еле заметный кивок.

– Будьте добры, спросите, те, кто впереди вас стоят, выходят? – беспокоился он, нервно двигая мимикой.

Вообще-то большинство не успевающих куда-нибудь в понедельник утром – нервничают. Они опаздывают к заказчикам штор и компьютеров, в крохотные офисы маленьких компаний, в бесчисленное число рекламных и туристических агентств. Если опаздывают сильно – начинают злиться.

Я немного беспокоюсь за начало моей Большой недели, но настроение у меня хорошее. Даже немного веселое, а в голове крутится какая-то крякающая песенка из тупого мультика про зажиточную утку. И конечно же я не злюсь. И даже не нервничаю. Это, наверное, потому, что я опаздываю на похороны.

«На похороны?! В веселом настроении, с крякающей песней в башке? Кошунство!» – сказало бы общественное мнение, которому вечно до всего есть дело.

Опаздывать в веселом расположении духа на одни конкретные похороны – хамство, согласен. Но я-то опаздываю сразу на много похорон. Как минимум на пятнадцать траурных процессий, кремаций, поминок... «Гибель одного – трагедия. Гибель миллионов – статистика», – говорил отец народов, который старался не допускать трагедий, а потому клал людей миллионами. «Когда у тебя одного много похорон – это уже не похороны, – вторя вождю, скажу я. – Это формализованный ритуальный технико-коммерческий процесс, который дает мне хлеб насущный. С насущным маслом».

Пристроившись в энергичный фарватер крупного лысеющего опозданца, я выскочил из вагона, юркнув на лестницу.

– Что там со временем? – шепотом промямлил я, вскинув руку. – У меня семь минут. Если даже Боряна нет... Могу успеть.

Сощурившись на дорогу, я с трудом разобрал контуры безнадежно уехавшего 5-го автобуса. Если ждать следующего, то появлюсь на работе минут через сорок, когда первые ящики уже двинутся по адресам в сопровождении родственников, опечаленных и не очень.

«Такси надо брать», – с тяжелым сердцем подумал я. Денег было чертовски мало. И хотя я уже тогда заботливо лелеял в себе хиппи, внутренний голос капризно требовал побережь наличность. Для себя любимого. вдруг Боряна там нет?» – мелькнуло в голове.

И тут же эту беспокойную совестливую мысль подхватил добрый десяток голосов всех тех, кого мы с Борей должны были отправить в последний путь. «Эх, ну что ж вы так, молодой человек. У меня, между прочим, в жизни единственные похороны. Это ж не свадьба, вторых-то точно не будет. И вы в такой день проспять умудрились!» – скрипел мертвый старушечий голос, заглушаемый ровным глуховатым гулом патанатомического холодильника. «Ты это, слышь, такси давай бери и живо дуй нас хоронить. Чтоб все как в аптеке было!» – басил какой-то дворовый воротила. «Мальчик! Если ты опоздаешь, образуется очередь – из нас, из автобусов, из родственников. Всю жизнь по

очередям мыкалась. Неужели и здесь придется?!»

- Да все, все... Еду, еду, - пробубнил я, пристыженный покойниками, и выставил руку навстречу плотному утреннему потоку машин.

- Брод, куда нада? - услышал я через несколько секунд. Передо мной стояла голубая «шестерка», изъеденная коричневыми веснушками ржавчины.

- Четвертая клиника, на Финишном проезде. И надо быстро.

- Нада быздра - будет быздра. Дэсять рублэй свэрху.

- Идет, - сказал я, хлопая дверью.

И «шестерка» рванула, издавая надрывные агонистические звуки, кашляя коробкой передач и нервно дребезжа песню про белого лебедя, который на пруду качает...

Десятка была заплачена джигиту не зря. Ехали действительно резво. Один раз было очень страшно. И потом еще два раза, но уже не так.

После того как второй раз было не очень страшно, показалось здание клиники. Огромная 20-этажная башня, с небольшим городком двух и трехэтажных построек вокруг нее. Она напоминала причудливый тандем завода и дворца и довольно живописно смотрелась на фоне высотных елей и проплывающих облачков. Строили больницу гастарбайтеры из дальнего зарубежья - в кратчайшие сроки, без шума и грязи. У нас так не умеют. Оборудование, отделка, финские лифты и пальмы в кадках.

И еще одна деталь, на первый взгляд не самая важная. Главный корпус клиники был выстроен правильным крестом. Такой архитектурный подход был неслучаен. Если вдруг случится война, то крыша нашего медицинского учреждения будет спешно покрыта красной материей. И с высоты птичьего полета станет виднеться большим красным крестом. И вражеский бомбардировщик не станет бомбить нас. Ну, или станет бомбить в первую очередь. Лично я не могу себе представить такой поворот современной русской истории. Хотя... если бы у французов и монголов были бомбардировщики... Неужели красный крест

остановил бы их пилотов? Вряд ли, ей-богу...

Но факт остается фактом – в форме креста. Почему? Потому, что клина наша – стратегический объект, ни много ни мало. Массивное строение и прилегающая территория, красовавшиеся на фоне елей, были лишь верхушкой айсберга. Внизу, прямо под ним, на глубине многих метров, была еще одна клиника, законсервированная на случай большой беды. Огромное бомбоубежище, операционные и палаты, вкуче с хранилищем чистой воды и сжиженного кислорода, ждут трагического часа. Но для рядовых сотрудников доступ в секретное подземное подбрюшье закрыт. И без большой беды туда не попасть.

Но куда более сильное впечатление на меня производили подземные тоннели нашего медучреждения. Серые, освещенные голубоватым дневным светом, высокие и широкие, они были такие длинные и разветвленные, что походили на подземное царство. И в одном из тысяч закоулков этого царства, изрубленного коридорами и намертво оплетенного узлами коммуникаций, есть надежно запертая дверь. За той дверью – железный сундук, закрытый на тяжелый замок. А в том сундуке, совсем как в сказке, хранится маленькая бледно-зеленая книжица, на первой странице которой аккуратно начертано мое имя. Все, что написано в ней, в миру почитается как непререкаемая истина. А написано буквально следующее: «Принят в патологоанатомическое отделение для работы санитаром в дневное время». А значит, так оно и есть.

Мало того... Сегодня, в понедельник, 7 июня, началась моя Большая неделя, что означало вынужденное погружение в Царство мертвых на целых семь суток. Я бы сравнил себя с Орфеем... Да только тот отправился в подземный мир за ненаглядной Эвридикой. Я же погружался в него по служебной необходимости.

Спешу успокоить – массового мора в те дни не произошло. Граждане, уставшие от каждодневного жития, покидали этот мир так же размеренно, как и раньше. Моя работа дневного санитаря шла своим чередом. На этой неделе – шесть дней, с 7-го до 14-е. Выдачи, вскрытия, прием одежды от родственников, одевание тех, кого будут выдавать завтра. В воскресенье морг работает только на прием.

Все дело было в ночных санитарях, которые по весне имели обыкновение искать лучшей жизни, а потому увольнялись. Работенка у них весьма занятая – мечта свободного художника. Ночь на службе, три ночи дома. Дежурство начинается в пять вечера, заканчивается в восемь утра. В течение этих пятнадцати часов изредка приходится выполнять кое-какие нехитрые обязанности. Услышав



истерично улюлюкающий дверной звонок, нужно открыть дверь навстречу бригаде коммерческой или государственной трупоперевозки. Принять тело и сопровождающие документы, занести информацию о вновь прибывшем в журнал, документы убрать в папку. Труп раздеть, маркером написать на плече фамилию, смочить обрезок полотенца в специальном растворе, положить на лицо подопечного, сверху одеть полиэтиленовый пакет, пристроить под шею подголовник и определить покойника на временный постой в холодильник. На двери секции, где он будет находиться, есть пластиковая табличка с номерами полок. Если гость занял, например, вторую полку, под номером 2 маркером написать фамилию постояльца.

Если звонок поступит из какого-нибудь отделения клиники, значит, кто-то из пациентов перестал болеть. Придется нанести визит в главный корпус, несмотря на неурочный час.

И вот тут важный момент, о котором в должностной инструкции ни хрена не сказано. В отделении ночного санитаря встретят медсестры, нередко чуть испуганные и грустные. В этот момент надо определиться с линией поведения. Слова утешения или маска невозмутимого мачо? А может, просто слегка кивнуть, буркнув сквозь зубы «привет»? Каждый решает сам. Я бы посоветовал действовать по велению интуиции. Но если внутренний голос порекомендует с ходу рассказать тематический анекдот... Тогда трижды подумай, прежде чем начать.

Дальше – просто. Труп и историю бывшей болезни забрать и отвезти в свои пределы. И снова – записать в журнал, фамилия на плечо, формалиновая маска, подголовник...

Впрочем, чаще всего звонят из реанимации. Там все иначе. Испуганных и грустных сестер ты там не встретишь, а потому и слова утешения подбирать не придется. Скорее встретишь яркую кокетку. Или в доску своего парня женского пола. Анекдот там будет куда более уместен.

Потом, благополучно дожив до утра в обществе полусотни покойников, в качестве утренней зарядки надо будет вымыть пол в холодильнике и в прихожей перед служебным входом.

Раз в месяц ночному санитару выпадает воскресное суточное дежурство. Утром пришел, утром ушел. Прекрасная возможность отоспаться, почитать чего-нибудь... или телевизор... выпивка. Нужно подчеркнуть.

Ну, вот и все... в общих чертах. Как видно, работа не требует особых знаний и навыков. Хотя... читать и писать нужно уметь обязательно.

Да... совсем забыл сказать. Платят ночным санитарам мало. Зато романтики с избытком. И чего они все поувольнялись-то? Но – факт! Поувольнялись... А потому мне выпала та самая Большая неделя. Это значит, что я буду работать дневным санитаром (вместе с напарниками), а вдобавок еще и отрабатывать смены трех «ночников». Начну работать в понедельник в 9 утра и закончу работать в понедельник, тоже в 9. «Семь дней, семь ночей», как говорят турагенты. Семь суток смерть нон-стоп. Господь успел за это время создать мир. Мы с парнями аккуратно засеем маленькое деревенское кладбище, отправив в последний путь около ста сорока человек.

Задумавшись о грядущей непростой неделе, я очнулся, когда таксист собрался тормозить у проходной в клинику.

– Мне в морг. Следующие ворота, – коротко буркнул я.

– Э-э-э! Понял, брат! Там работаиж, да?

– Ага.

– Злюжай, говоряд, там из бамжей мило делаюд, да? – вкрадчиво поинтересовался джигит, сделав потише радио и понизив голос.

– Да, делаем, – без тени насмешки сказал я. – Хозяйственное вот делаем – из хозяев. Из детей – детское. Ты же сам понимаешь, что чушь мелешь...

– Нэ, ну я нэ вэриль, что варяд мило. Эта глюпасть, канечна... – сказал он, визгливо тормозя.

Сунув ему деньги, я рывком выскочил из машины и двинулся к воротам морга. Крупный рыжий безродный пес с классическим именем Палкан беззлобно лениво

облаял меня, тут же по-хозяйски помочившись на забор. Мы с ним давно знали друг друга, ведь он жил при клинике, с несколькими другими дворнягами. Когда они были щенками, их приютила заведующая прачечной Анна Германовна. За богатырскую мужскую фигуру, огромный рост, обильные усы и сиплый прокуренный бас мои коллеги за глаза называли ее «Германович».

Войдя в ворота, окинул взглядом двор патанатомии и его окрестности, притаившиеся за внушительным железным забором. Всего шесть автобусов. «Странно, особенно для понедельника», – думал я, доставая из кармана простенький ключ от двери служебного входа, втиснутой в дальний угол приземистого двухэтажного здания. Сделав лишь один шаг внутрь отделения, тут же услышал мелодичное пыхтение своего напарника. «Слава богу, Плохиш уже на работе», – с облегчением подумал я.

Почему Плохиш? Нет, он не продавал секреты Страны Советов буржуинам за банку варенья. Секретов Боря не знал, да и к варенью был равнодушен. Все дело в его фамилии. Борис Александрович Плохотнюк – вот что было написано в Борином паспорте. Фамилия преображала его, заставляя искриться жизнь Бориса яркими красками, отраженными от окружающих его людей. Когда они слышали ее впервые, то лишь улыбались. Но со временем раскрывали для себя всю ее гоголевскую глубину, смакуя в самых разных ситуациях.

Первый смешок рождался, когда говорили «хорошо, Плохотнюк». Дальше – больше. «Плохотнюк плохо сделал домашнее задание», – говорила его первая учительница, с трудом сдерживая улыбку. А если на перемене случалась драка, то директриса школы без труда определяла зачинщика беспорядка. Им был Боря, ведь фамилия просто обязывала его быть задирой. «Плохотнюк, не нарушай порядок, я тебя по-хорошему прошу», – говорила ему классная руководительница, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Плохотнюк, ты хорош», – томно произносила соседка после секса, когда он подросток. И все, кто работал с ним в патанатомическом отделении, тоже не отказывали себе в удовольствии склонять его фамилию в самых разных ситуациях. Ей-богу, если бы Боря назывался каким-нибудь «Ивановым», он бы не был самим собой.

– Плохиш, ты уже на месте? Здорово, чудище!

– И ты здравствуй, Тёмыч. Опаздываешь, скотина... – беззлобно протянул он, появляясь из зоны выдачи с крышкой гроба, которую держал под мышкой. Не выпуская ее, чуть приобнял меня, неуклюже приваливаясь плечом.

– Борян, да на две минуты всего задержался-то... А что у нас с автобусами сегодня? – спросил я, направляясь в глубь отделения, где находилась уютная комната санитаров, а в ней – мой шкафчик, с хирургической пижамой цвета «светлый хаки».

– Да уехали они, – вальяжно сказал он, разминая пальцами сигарету.

– Погоди, а сколько ж ты отдал? И когда приехал?

– Отдал я двух уже. А приехал утром.

– Когда – утром?

– Да в субботу утром и приехал, – прикурил он, ехидно улыбаясь.

– Ты здесь все выходные протусил, что ли?

– Ага, – довольно ответил Плохотнюк. – Выспался, в субботу нажрался как свинья. Мылся, в бассейн ходил, в библиотеку... К Ларке в реанимацию – тоже ходил.

– Надо тебе, Борян, каким-то макарон прописку здесь справить, – предложил я ему, направляясь за журналом регистраций трупов, поступивших на вскрытие. – Бумажкин в отпуске?

– Ага, в среду появится, – зевая, ответил Плохиш.

– Боря, как у нас сегодня в секции? Много?

– Ну, че-то есть там... Тёмич, а давай уговор. Я сегодня выдачи все беру на себя, и одевалку тоже всю. Левак – строго пополам. У меня там еще восемь похорон, до двух дня. А ты – в секцию. А то у меня синдром этот...

– Абстинентный, Борь, – подсказал я.

– Не, ну, хочешь, я тебе в секции мешать буду. А потом вместе одевать пойдем, – плавным мурлыкающим голосом пропел мой напарник.

– Ладно, я в секцию. На тебе все остальное, – согласился я, открывая «Журнал регистрации трупов». Да так и застыл, глядя в него и матерно шевеля губами.

– Что там? – давясь смехом, участливо спросил Плохиш.

– Да пошел ты, Борян! – искренне ответил я ему, не веря своим глазам.

Но поверить пришлось. Четырнадцать вскрытий! «Да, сегодня большой мясной день. И Бумажкин в отпуске... как назло. Он бы помог. Все-таки почти двадцать лет стажа у него». Выругавшись, пошел за старенькой линялой хирургической пижамой. Свою, новую, было жалко. Четырнадцать! Это конвейер, спешка, вся секция в крови, сам весь в крови, в костной крошке, вонища, толпа врачей над душой и тупые ножи в конце дня. А, да... Спина, руки и поясница – к концу дня их почти нет.

Так, звонок, причем внутренний.

– Борян, нутро!

Нутром мы прозвали внутренние звонки, которые приходят из клиники. Звонили нам менты («пост 12-й, у вас там окно на втором этаже, что ли?», «да, у нас там есть окна», «открыто, что ли, в смысле?!»); вентиляторщики («это морг?», «да», «у вас там сейчас было вот так – бубубубух?», «нет, но бух можно устроить», «ты, это... не шути, а если хлопки начнутся – сразу нам звони»). Ну, и сестры из отделений («ой, мальчики! ой, мальчики! у нас тут дедушка умер, приезжайте к нам. А это морг?». «Да, морг». «Ну, мы вас ждем». «Какое отделе... тьфу ты, дурная баба! Повесила трубку! В клинике 27 отделений, где ж я дедушку-то искать буду?!»).

– Патанатомия, слушаю. Да, да, минут пятнадцать-двадцать, – проговорил Боря в трубку. – Тё-мыч!!

– Не вздумай сказать, Борян, что в реанимации труп.

- Не, ни хрена.

- А что?

В ответ я услышал лишь какие-то булькающие вибрации. Выйдя из кладовки с мешком ветоши, увидел красного Борю, который паралитично трясся в приступе похмельного смеха.

- Да кто звонил-то?

- Из реанимации, как ты и сказал.

- Труп, значит. На вскрытие, естественно.

- Не-а, Тёмыч. Два трупа. На вскрытие. Ты у нас сегодня стахановский подвиг исполнишь. Не, честно - я помогу, как всех отдам. Может, хоть помою да зашить что-нибудь успею.

- Ты их забери - и сразу мне в секцию вези. Скоро реаниматологи заявятся, кружком у стола соберутся, пару слов на латыни скажут... Посмертный консилиум...

- Они когда так стоят, мне все время кажется, что сейчас посуду вынут, по сотке разольют, выпьют, не чокаясь, поплачут... - мечтательно сказал Плохиш, выпуская дым через ноздри. - Ладно, Тёмыч, я погнал в реанимацию.

- А я - в секцию.

Привычно проведя рукой по длинному ряду выключателей, я разбудил секционный зал, отменив кварц и врубив лампы дневного света.

Что такое секция? Кафельная комната, довольно большая. Основную площадь занимают три патанатомических стола из нержавеющей стали. В конце каждого - раковина и слив. Над столами - хирургические лампы, которыми почти никогда не пользуются. Парочка железных шкафов с остеклением - в них инструмент, банки для биопсий и... много еще чего. По углам стоят две раковины с ножным приводом. Чтобы водичка пошла, нужно ногой рычаг

нажимать. Когда руки покрыты кровью так, что не видно перчаток – очень удобно. У окна стоит письменный стол, но я ни разу не видел, чтоб за ним кто-нибудь сидел. Электроточилка для ножей – незаменимая штука.

И весы. Эта вещь – моя любимица. Старорежимные стрелочные весы, громоздкие, железные, выкрашенные какой-то грязно-зеленой краской, словно готовы в любую минуту отправиться на войну. Служат для взвешивания органов. И когда в секции пустота и чистота – весы как весы. Но когда денек, вроде сегодняшнего, подходит к своему зениту, все столы заняты пустыми людскими каркасами, на полу пятна крови, везде стоят банки с кусками человеческого нутра, окровавленные тряпки то тут, то там... И в центре всего этого – санитар в хирургической пижаме, весь забрызганный красным, с розовой полоской мозга на прозрачном клеенчатом фартуке, которая ползет крупными каплями вниз, к ногам... а на брови у него присохший желтый кусочек жира, что еще недавно согревал кого-то из тех, кто на столах... В воздухе стоит кислото-приторный запах мяса, желчи и фека... дерьма, в общем... Вот тогда весы неизменно роднят секционный зал с рыночным прилавком в мясном ряду, в котором одновременно случился и завоз, и распродажа. Зрелище завораживающее.

Пробовал выносить весы из секции – обычная мертвецкая. Весы назад – адова лавка. Каннибалам – скидки.

А-а, совсем забыл... Каждый трудяга старается придать своему рабочему месту какой-то личный оттенок, сознательно или неосознанно. Мы с коллегами не были исключением. А потому однажды на стене в секционной появился лозунг, исполненный в лучших традициях советской пропаганды. Белыми трафаретными буквами на узкой полоске кумачовой ткани было написано: «Жить надо так, чтобы тебя не вскрывали».

Этот миниатюрный транспарант делил всех, кто его видел, на две категории. Одни замечали в этой фразе лишь шутку санитаров. Другие же сразу проникались ее глубоким смыслом, втайне задумываясь над своей жизнью.

Кроме кумачово-белого воззвания была в секционном зале нашего отделения и еще одна посторонняя вещь, не вписывающаяся в приказы и распоряжения Главного медицинского управления. Пузатый кассетный магнитофон, с выпирающими боками мощных колонок, стоял недалеко от весов. Забрызганный микроскопическими капельками мертвой крови, которые были не видны на черном пластике корпуса, он скрашивал монотонную мясную рутину то Оззи

Осборном, то Моррисоном, то легкомысленным эфиром модной радиостанции.

Пока я с тобой, читатель, трепался – успел подготовить секцию к работе. Вынул ножи, иголки, банки для биопсий, ветошь, жбан с формалином. Теперь – на второй этаж, к врачам. Там тоже морг. Но та его часть, где царство науки, и правит бал высшее медицинское образование. Поднимаемся по лестнице. Открываем дверь и – другое дело... Пальмы, лианы, аккуратный журнальный столик, рекреация с кофеваркой. В открытых дверях кабинетов видны достойные люди у микроскопов и компьютеров.

По коридору – налево, вторая дверь. Ситкин Виктор Михайлович – вот кто за ней. Заведующий отделением, окружной патологоанатом Северо-Восточного округа столицы. Это должности. Если позабыть о них... А вот мы сейчас позабудем да и войдем.

– Привет, Виктор Михайлович! Как ваше драгоценное?

Кабинет хорош – мебель, аквариум... Ну, да черт с ним, с кабинетом. Из большого кожаного кресла навстречу к нам поднимается мужчина пятидесяти с небольшим лет. Не высокий, среднего роста, с усами и клиновидной бородой, с прической вождя мирового пролетариата, он и впрямь сильно смахивает на Ильича. Есть даже портретное сходство, да только Михалыч покруглей. В нем есть тонкий, просто ювелирный баланс между Лениным, каким его рисовали для детей, и галантным флибустьером с научной степенью. Голубовато-серые шерстяные брюки со стрелками, черные лакированные ботинки, всегда безупречная белая сорочка и... Широкие, массивные черные подтяжки, отделанные тонкой кожей, просвечивают из-под безупречного врачебного халата. И ведь при этом – похож на вождя! Веселый Ленинжер, да и только.

– Привет, Артёмий, привет! Спасибо за заботу, драгоценности все надежно спрятаны. А что у тебя?

(Он называл меня этим странным именем «Артёмий», которое, видимо, придумал сам.)

– У меня-то? Танец с саблями. Четырнадцать вскрытий... и два из реанимации сейчас к нам едут.



– Ух ты... Володька где?

– Бумажкин-то? В отпуске. В среду будет.

– Ну, тогда вперед, дружище. Вперед! Сегодня танцуют все. Так что в секции будет людно. Набери меня, когда реаниматологи придут. Засвидетельствую почтение. Поставщики все-таки...

– Наберу обязательно. Виктор Михалыч, можно просьбу?

– Просьбу можно. Денег нет.

– Деньги – зло, я не о них. Виктор Михалыч, а как бы нам издать какую-нибудь директиву ВКП(б), чтобы черепные коробки не трогать? Мы ж с Борькой одни сегодня. У меня – вон чего, да и у него там все плотно.

– Наука, Артёмий, не терпит компромиссов. Если Марго захочет смотреть в мозг усопшему – она его получит. Но без особой надобности вскрывать не будем, договорились. Ну а когда показания – извини. Давно бы уже научился мозг через нос вынимать, чтобы не маяться с черепами граждан.

Улыбнувшись друг другу, мы расстались.

Ситкин сказал «танцуют все». Значит, в секционном зале будут работать все патанатомы, которые в строю. И черепные коробки почивших граждан придется вскрывать по первому требованию врачей. А это значительно усложнит мою грязную и нужную работу.

Спускаясь по лестнице, наткнулся на Маргариту Порфирьевну Одашеву, одного из лучших патологоанатомов нашего отделения, которую Михалыч называл Марго. Лет шестидесяти, смешная такая тетушка. Маленькая, тощенькая. Говорит она медленно и так, будто перед ней трехлетний ребенок. Меня звала Темушкой. Одета, как английская дама эпохи Льюиса Кэрролла, в изящном халате и старомодном зеленом клеенчатом фартуке, копаясь в органокомплексе, любила рассказывать разные милые истории про эксгумации, в которых она участвовала, когда была судмедэкспертом. Взяв на исследование все, что было только можно, Марго говорила, поправляя тонкие очочки:

– Ну, все ясно. Отчего дед помер, один Бог знает. Пойду, напишу об этом в заключении. А ты, Темушка, готовь мне следующего горемыку. Вдруг с ним больше повезет...

В тот день, увидев меня, она просияла своим детским морщинистым лицом.

– Темушка, привет! Я работаю с четырьмя гражданами, а мне ведь сегодня к зубному. Так что я тебя очень прошу – моих без очереди, первыми. Ладно?

– О чем речь, Маргарита Порфирьевна...

– А записочку с фамилиями я тебе на стол положила.

Взяв записку со стола в секционном зале, я пошел к холодильнику. Новенький красавец стоит теперь у нас на первом этаже, а не в подвале, как старый. Да и в подвал ему не по рангу. Он ведь настоящий импортный английский джентльмен. Создан инженерами британской фирмы «Леес». Восемь секций, тридцать два места. Температура и влажность в каждой секции регулируется отдельно, а все значения выводятся на жидкокристаллический мониторчик. Заметьте, 1995 год. Если открыть дверь, которая охраняет покой усопших, засунуть в холодильник башку и потянуть носом... Никаких запахов, как бы вы ни принюхивались. Циркуляция холодного воздуха обеспечивает усопшим сохранность, унося в вентиляционные патрубки тошнотворный аромат смерти.

Граждан нашей необъятной Родины, причину кончины которых будет определять сегодня Марго, зовут Ермилов, Санин, Джанидзе и Васильев. Уверен, что всем четверым глубоко плевать на диагноз. Они упиваются той абсолютной свободой, на которую не в силах повлиять незаконченные земные дела, искренние и фальшивые слезы родственников, похоронная церемония и скорбные речи. Теперь во власти живых лишь их изношенные тела. И, прежде чем зарыть останки в терпеливую землю, живые станут терзать их своими суетливыми манипуляциями, стараясь угодить медицине и религиозным обрядам.

Обряды позже. Сейчас – медицина. А значит, Ермилов, Санин, Джанидзе и Васильев попадут на секционный стол первыми, ведь Маргарите Порфирьевне сегодня к зубному. Стало быть, мне надо поторапливаться.

Итак, сперва Ермилов. Как и всем остальным, кто ляжет сегодня передо мною на зеркальную сталь секционного стола, ему предстоит классическая аутопсия по Шору, названная так в честь ее изобретателя – советского патологоанатома Шора, жившего... Точно не помню, но когда-то давно. В общем-то – ничего сложного. Моя задача состоит в том, чтобы извлечь из Ермилова органокомплекс. Конкретнее – все, чем наделила его природа, от кончика языка и до нижнего отдела прямой кишки. А если того потребует врач, то и головной мозг тоже.

Когда все внутренности лягут покойнику в ноги, врач сможет исследовать их, раскрывая длинным острым ножом орган за органом. Закончив, доктор удалится в свой кабинет, где родится «справка о смерти». Бумагу эту отдадут родственникам, а обозначенный в ней диагноз будет вписан в гербовое «Свидетельство о смерти», которое станет последним документом, выданным усопшему государством, заявляющим свои права на человека даже после его кончины. Конечно же посмертный диагноз вряд ли что-то изменит. Особенно для Ермилова. Но... Правила есть правила. Он подчинялся им при жизни, пришло время подчиниться им в последний раз.

А потому я привычным ловким движением вдеваюсь в клеенчатый фартук и беру короткий хирургический нож с острым лезвием, мерцающим на его выпуклом брюхе. Подхожу к столу, встаю на широкую деревянную подставку, возвышаясь над трупом. Его бессмертная душа витает где-то рядом, то поднимаясь над нами под самый потолок секционного зала, то опускаясь к своему бывшему пристанищу.

Голый, серо-желтого цвета, он лежит передо мной, безучастно задрав в потолок восковое лицо. Один глаз приоткрыт, синюшные губы натянуты так, что видны крупные желтые зубы. Если приглядеться, вполне может показаться, что он улыбается, исподтишка посматривая на меня.

Раньше я иногда подолгу, замороженно, смотрел в эти лица, силясь увидеть в них прежнюю жизнь. Но годы шли, настойчиво наматывая на календарь рутину множества сотен вскрытий, и со временем я перестал видеть перед собой человека. И Ермилова, косящегося на меня с легкой улыбкой, тоже не вижу. Даже если его мертвое лицо захочет поведать мне о его судьбе – не стану слушать. Я просто возьму короткий хирургический нож с острым лезвием, мерцающим на выпуклом брюхе. И начну... ведь Маргарите Порфирьевне сегодня к зубному.

Наваливаясь своим весом на инструмент, делаю длинный продольный разрез, от горла до паха. Нож, пока еще острый, режет легко, заставляя послушную плоть разъезжаться по обе стороны от лезвия. Рассекаю брюшину, обнажая петли кишечника. Сноровистыми движениями отделяю кожу от грудины и ребер, открывая грудную клетку. Затем беру Ермилова под локоть, словно старого приятеля, несколько раз приподнимаю его руку, чтобы увидеть границу ключицы, в которую я вопьюсь все тем же ножом. После чего рвану хищное лезвие вдоль тела, с глухим треском вспарывая ребра. И с другой стороны.

Освободив тело от грудины, откладываю короткий нож. Теперь в дело вступает его длинный коллега, похожий на стилет, заточенный с одной стороны. Им я отделию от Ермилова верхушку органокомплекса – гортань и язык. Сгусток запекшейся крови, которую когда-то толкало по венам и артериям неутомимое сердце, соскользнет из распаханной шеи покойного, шмякнувшись на поверхность секционного стола. Тогда потяну гортань на себя, вынимая из груди Ермилова дряблые прокуренные легкие, скрывающие под собой неподвижное сердце. Еще совсем недавно он набирал этими легкими полную грудь воздуха, чтобы укоризненно просипеть: «Люська! Да что ж ты душу-то мне мотаешь, стерва?!» Он выдыхал из себя это, а календарь его жизни продолжал шелестеть, считая дни. Когда дней не осталось, стал отсчитывать оставшиеся вдохи. Каждый из них дарил ему возможность сказать ей: «Люся... Ты прости меня, дурака старого. А, Люсь?» Успел ли?

Протяжно режа вдоль позвоночного столба, я быстро рассекаю ткани, которые крепят к нему все органы бывшего пациента клиники. Вот и все. Осталось лишь перерезать прямую кишку, достав ее рукой из области таза. Теперь органы, лежащие в ногах у того, кому они верно служили, покуда могли, больше ему не принадлежат. Отныне это собственность министерства здравоохранения.

В проеме двери появляется Марго. В прозрачном пластиковом фартуке, в полиэтиленовом чепчике на седой кукольной голове и с историями болезни в руках, она с явным нетерпением заглядывает в секционную, мягко подгоняя меня.

– Тёмушка, товарищ готов? Так, Ермилов, – деловито говорит Маргарита Порфирьевна, доставая инструменты из железного шкафчика. – И что же это у нас произошло? – спрашивает она, обращаясь к вскрытому телу так, будто и впрямь ждет от него ответа. Ермилов молчит, уставившись в потолок.

Торопливо надевая перчатки, Марго приступает к дознанию. Ее длинный острый нож, точь-в-точь такой же, как у меня, проворно мелькает над содержимым покойника, рассекая органы вдоль и поперек и стараясь добраться до истины. А я тем временем перехожу к соседнему столу, на котором лежит Санин. Его голова повернута на бок, прочь от Ермилова, словно он боится взглянуть на своего соседа по анатомическому залу.

– Ну... смолил он, конечно, безбожно, но помер не от этого, легкие в норме, – бубнит Марго себе под нос. – Да и печень, хоть с признаками цирроза, его не убила. Не иначе как сердце. Ну-ка, Тёмушка, переверни мне это богатство... Вот так...

Я медленно, аккуратно, чтобы не забрызгать врача кровью, переворачиваю органокомплекс. Она берет сердце в руку, делает быстрый короткий надрез и одним движением вынимает его из сердечной сумки. Через несколько секунд оно уже нашинковано на тонкие лоскуты.

– Да, тут все очевидно. Обширный инфаркт, – радостно сообщает Марго, давая понять, что готова приступить к следующему и надо работать быстрее. Визит к зубному пропустить никак нельзя, и она очень надеется на мою расторопность. Марго знает, что я один из самых опытных и скоростных санитаров. На вскрытие у меня уходит около трех-четырех минут, не больше. А потому она будет у врача в назначенный час.

Секционная машина набирала обороты. Двигаясь от стола к столу, мы с Маргаритой Порфирьевной наполняли мертвецкую, облицованную бледно-серым кафелем, звенящим лязганьем инструментов, запахом потрошенной человечины и диагнозами, звучащими, словно запоздалые приговоры. Теперь мы знаем, какой именно кусок брэнного мяса свел в могилу Ермилова, Санина и Джанидзе. А вот узнать причину их смерти не в нашей власти. Кто из них потерял нечто такое, ради чего тащил лямку? Для кого груз прожитого стал невыносимо тяжел? Если забыть об анатомии да взять в руки пустой бланк справки о смерти, что мы в ней напишем? «Смерть наступила в результате хронического проживания в Российской Федерации». Разве что так...

В дверях то и дело появлялись другие врачи, прознавшие про четырнадцать вскрытий: торопились занять очередь к своим пациентам, хотя обычно в жизни все бывает строго наоборот. Но сегодня смерть диктует свои правила, раз и навсегда освобождая посетителей нашего отделения от утомительных

очередей.

Когда Марго поставила четвертый диагноз своему последнему страдальцу, она одним ловким движением стащила резиновые перчатки, промурлыкала «вот спасибо тебе, Темушка» и легкой девичьей походкой выпорхнула из дверей мертвецкой, на ходу освобождаясь от клеенчатого передника.

Ее сменил Петр Магомедович Магомедов, которого коллектив за глаза величал Магомедом. Крупный усатый дагестанец работал куда медленнее, чем Маргарита Порфирьевна, размеренно и без спешки изучая то, что я доставал из усопших. Когда он тщательно взвешивал каждый орган на совковых весах, то становился чертовски похож на неторопливого кавказского продавца, отчего секционная сильно смахивала на прилавок одного из московских рынков. Взвесив, Петр Магомедович чаще всего тяжело протяжно вздыхал, будто худеющая дама, ждущая от весов других результатов, и принимался записывать что-то в блокнот, подолгу замирая над историей болезни.

Обороты, набранные нами с Марго, стремительно упали, удлиняя рабочий день, который и без того обещал быть длинным. Наскоро обмыв инструменты, я решил, что вполне заслужил небольшую передышку, которая проведет невидимую границу между сделанной и оставшейся работой.

Выходя из секции, я столкнулся с Томой. Встряхнув растрепанными пергидрольными кудрями, эта молчаливая женщина средних лет стрельнула у меня сигарету. Она всегда так делает, когда мы с ней видимся. Угостив ее куревом, я пошел в кабинет номер 12, удаляясь от кропотливого медлительного Магомеда по короткому широкому коридору.

Надо сказать, что кабинет этот, скрытый от глаз пациентов клиники и их родственников, был весьма знаменит среди персонала. А ведь лишь немногие сотрудники других отделений переступали его порог. Но эти немногие непременно делились впечатлениями со многими остальными, частенько вплетая в свой рассказ самые разные слухи и домыслы, гуляющие по больнице.

Наверняка ты думаешь, читатель, что за порогом 12-го кабинета были спрятаны всякие диковинные человечьи аномалии, надежно запертые в банках с формалином. Но нет... Врачей, лаборантов и медсестер сложно удивить подобным зрелищем. Дело в том, что на двери с номер 12, что находилась на

первом этаже патологоанатомического отделения, имелась скупая трафаретная надпись «комната отдыха санитаров». Казалось бы, что же тут может быть любопытного? И почему заурядное бытовое помещение стало предметом сплетен?

Разгадка проста. Двенадцатый кабинет нашего отделения был весьма незаурядным бытовым помещением, аналогов которому в клинике не было. Хочешь взглянуть? Пожалуйста... Два мягких щелчка ключом – и мы с тобой внутри.

Большая просторная комната. Куда более просторная, чем можно ожидать от комнаты отдыха санитаров. Слева от входа находятся двери двух душевых, прижатых почти вплотную друг к другу. Душевые – единственное, что роднит эту комнату со множеством подобных в других отделениях больницы. Все остальное ее убранство разъединяет их, как дальних родственников, которые никогда не поймут и не примут друг друга. Итак...

Большое сдвоенное окно занавешено широкими вертикальными жалюзи в восточном стиле, украшенными изображением летящего дракона, пышных лотосов и миниатюрных кукольных гейш. Вдоль окна вольготно устроился массивный черный кожаный диван с широкими покатыми подлокотниками. Перед ним низкий овальный столик – дерево под темным лаком, с широкими стеклянными вставками. У стены напротив – приземистая мускулистая тумбочка на колесиках, с дверцей из слегка прозрачного темного стекла. На своей крепкой спине она держит громоздкий тяжелый телевизор, уроженца Японии. А за тонированной стеклянной дверцей прячется его земляк – японский видеомэгафон, со всех сторон зажатый кассетами с фильмами. В углу, словно подбоченясь, стоит пухлое кресло, похожее на диван, будто младший брат близнец.

В паре метров от него маленькая уютная кухонька, со шкафчиками разного калибра смелого оранжево-красного цвета, а потому отчаянно модная. В ее объятиях зажата холодная стальная раковина, в которую, изогнув длинную лебединую шею, смотрит настоящий финский кран, готовый пустить деликатно шипящую струю. В центре кухни незыблемой глыбой стоит импортная электрическая плита с аккуратными переключателями и крошечными сигнальными лампочками. Узенький участок деревянной столешницы, желавшей казаться мраморной, отделяет плиту от высокого белоснежного холодильника немецкого происхождения. В его прохладном чреве всегда можно

было найти какую-нибудь домашнюю стряпню. Да и деликатесы в нем тоже появлялись. Под боком у холодильника теснятся еще двое «немцев», но родившихся на азиатских конвейерах – электрический чайник и кофеварка. Завершает кухонную композицию компактный обеденный стол в компании с тремя добротными стульями.

В другой части кабинета номер 12 расположился встроенный шкаф-купе с зеркальными сдвижными дверями и внутренней подсветкой. Угол у окна занимал аквариум – на высокой деревянной подставке, с цветастыми пластмассовыми водорослями, каменистым грунтом, черноморскими ракушками и растопыренным кораллом. В этом столитровом кусочке африканского озера хозяйничала суетливая стайка полупрозрачных радужных рыбок. Из-за аквариума возвышается пальма с острыми сочными листьями и стволом толщиной в руку, глядя на который становится понятно, что перед тобой настоящее дерево.

Санитарные нормы учреждения не терпели обоев и ковров, а потому в комнате отдыха их не было. При этом не было в ней и унылого бледно-голубого больничного линолеума. Вместо него пол был выложен крупной напольной плиткой, раскрашенной черно-белыми полосами, словно шкура зебры. Стены двенадцатого кабинета были белыми и оштукатуренными, как и во всей клинике. Но четыре крупные картины в аскетичных, стильных черных рамах, да несколько постеров с портретами западных рокенрольщиков, почти полностью скрывали их нагую белизну. А строгий серебристый торшер, выполненный в стиле «техноминимализма» и стоящий недалеко от входа, заливал комнату мягким пастельно-лимонным заревом, оберегая уют двенадцатого кабинета от бездушного казенного света и мерзкого монотонного жужжания люминесцентных ламп.

Да... совсем забыл... Один из шкафчиков оранжевой кухни был заперт на ключ, который хранился в укромном месте. Вместо кухонной утвари в нем прятался скромный по размерам бар, способный похвастать весьма нескромным ассортиментом породистых крепких напитков. И все это, позвольте напомнить, в 1995 году.

«Двенашка» была детищем Вовки Бумажкина и нашего санитаря-ветерана Славика Ершова – он начинал свою работу в госпитале много лет назад. Но именно Вовка, которому было весьма за сорок и который слыл обстоятельным и домовитым мужчиной, стал обустраивать наш второй дом в складчину с двумя



другими санитарями. Добротная мебель и стильный дизайн 12-го кабинета были его заслугой.

Конечно же доктора и сестры клиники тоже старались украсить свои ординаторские штрихами домашнего уюта. Занавески, пуфик, плед, старенькая фиалка на подоконнике... Впрочем, иногда эти милые семейные вещицы лишь подчеркивали холодную ничейность служебных помещений. По сравнению с нашей двенадцатой...

Да нет, глупо даже пытаться сравнивать! Двенадцатая (которую между собой мы называли «двенашкой») совершенно не старалась походить на дом. Ведь она была самым настоящим домом. И не для десятков малознакомых людей, а всего-то для нескольких человек, которые знали друг друга не один год и были крепко связаны общим непростым и суровым делом. И несли общую ответственность за него, хотя каждый понимал ее по-своему.

За долгие годы «двенашка» повидала разного. Бурные служебные романы ночных санитаров, состоявшиеся и не состоявшиеся разводы, вечеринки по поводу и без него. Она была временным пристанищем для тех, кому отчего-то некуда было идти. Радужно принимала она и тех, кого ждали дома, но идти им туда не хотелось. Здесь можно было пережить самую разрушительную фазу квартирного ремонта. Или просто остаться наедине с собой и своими мыслями.

Разговоры о комфортном быте санитаров анатомички, иногда звучащие в стенах клиники, были рождены чувством зависти. Казалось бы, все просто и очевидно. Но очевидность эта обманчива.

Я тоже не сразу понял, что зависть коллег по клинике, работающих в 20-этажной башне главного корпуса, имеет двойное дно. Истинная причина ее не имела никакого отношения к материальной стороне вопроса. Вполне возможно, что многие завистники и сами не понимали, отчего же им не дает покоя эта комната номер 12, втиснутая в коренастый корпус патанатомии. И если кто-то из них читает эти строки, то пускай поправят меня, если я надумал чего-то лишнего.

Итак, пока я наливаю себе опасно крепкий кофе, стоя в той самой комнате отдыха, мы аккуратно и решительно препарировем неблагоприятные чувства коллег.

Слой первый, поверхностный. Носит чисто материальный характер, является осознанным психическим процессом, хотя многие пытаются убедить себя и всех вокруг, что он им не знаком. Одним словом – зависть элементарная. Как бы то ни было, ясно одно – серьезное конфликтное противостояние на такой примитивной страстишке не построишь. Вспыхнет и погаснет. За ней должно стоять куда более масштабное чувство.

Слой второй, внутренний. Носит глубокий психологический характер. В его основе: комплекс недооцененности, несправедливо заниженной оценки. «Я врач, с высшим медицинским образованием. День за днем помогаю людям, некоторым жизни спасаю. На мне лежит колоссальная ответственность, а значит – большие психические нагрузки. А они... Кто они? Санитары. Необразованные мясники, алкоголики, аутсайдеры, от которых по большому счету ни хрена не зависит. И что в итоге?» А вот это уже четкая аргументированная позиция. Вот она способна сформировать стойкое отношение к какому-то явлению или группе людей. А если дело дойдет до открытого конфликта, то она будет управлять сознанием. Если один человек выстроил осознанную аргументированную позицию, то другой ее своими контраргументами сможет разрушить. И примеров тому немало.

Слой третий, глубинный. Вот мы и добрались до подсознательного. Это человек контролировать не способен, словно тектонические процессы. Сознание тут бессильно. Как бы ты ни жонглировал своими позициями и аргументами, подсознательное будет гнуть свою линию, формируя ваши эмоции. Как они зарождаются? С помощью природного инстинкта, призывающего человека держаться подальше от всего, что связано со смертью. И от тех, кто знает, как ты, человек, будешь смотреться в секционном зале...

Кстати, меня там давно уже ждут. И живые, и мертвые.

Интересно, кому из них я больше нужен?

Проведя два часа в секционном зале, понял, что нужен всем. Врачи торопили, заставляя метаться между столами, попутно убирая банки с биопсиями и ставя новые, натачивая ножи и взвешивая выдавшую виды циррозную печень.

Не успел я распрощаться с Магомедом и его молчаливыми пациентами, как в секционной показалась каталка, которую толкал Плохотнюк.

– Жив еще, мясничок? – подмигнул он.

– Ага. Это местный?

– Да, из реанимации. Врачи будут через пятнадцать минут. Шеф придет, будет сам работать.

– Понял. Плохиш, сделай-ка доброе дело для стахановского передовика. Забери с этого стола в холодильник.

– О чем речь, дружище? – картинно развел руками Плохотнюк. Исполнив просьбу, он скрылся вместе с отработанным покойником в широком проеме двери, из которого была видна нервозно мигающая лампа дневного света.

Спустя пятнадцать минут я был застигнут врасплох представительной делегацией отутюженных глянцевых врачей, реаниматологов и терапевтов во главе с флибустьером Ситкиным.

– Прошу, коллеги. Аутопсия – самая надежная диагностика на свете. Хотя и печальная, – урчал шеф бархатным баритоном, проходя в секционную.

Врачи, двое мужчин и пухлая кукольная блондинка, уверенно следовавшие за шефом патанатомии, на мгновение замерли в дверях мертвецкой, словно споткнулись о порог. Анатомичка в разгар большой пахоты хлестко и без предупреждения ударила их по зрению и обонянию. Залитые кровью столы, выпотрошенный каркас одного из четырнадцати несчастных, грязный фартук Магомеда, лежащий прямо на письменном столе (он вечно забывал его там)... Но более остального – влажная удушливая вонь, и я, выглядящий так, будто только что вальсировал с расчлененным трупом.

Мужчины, глядя под ноги и переступая подсохшие капли крови, осторожно двинулись к столу, где лежал их бывший пациент. Блондинка медлила, обводя взглядом секционный зал и с трудом сдерживая гримасу отвращения. Сразу было видно, что она много бы дала за возможность немедленно вернуться к себе в отделение. Мельком глянув на нее, Ситкин ухмыльнулся одними глазами.

– Извините нас с Артёмием за рабочий беспорядок, коллеги. День сегодня выдался сложный, – без тени иронии сказал он.

Блондинка все-таки пересилила себя и двинулась в глубь секционной, неловко задирая ноги в черных лаковых туфлях. Михалыч и реаниматологи встали полукругом у стола с телом мужчины почтенных лет, на котором были видны следы врачебной работы. Свежие операционные швы на его груди, из которых торчали дренажные трубки, были обильно залиты зеленкой. Из подключичной артерии и локтевой вены торчали катетеры. Обойдя его с другой стороны, я встал на подставку и вопросительно глянул на шефа.

– Приступай, голубчик, приступай... – ласково сказал мне Ситкин, скосив острый прищуренный взгляд на своих гостей.

И я приступил. Аккуратно обходя швы, освободил брюшную полость и грудную клетку от прочной человеческой кожи. Лица врачей были напряжены, а блондинка из терапии даже прижала к лицу бледно-розовый платочек.

– Тут оставь пока, – вполголоса сказал шеф, указывая на подключичную артерию. «Ставлю на Ситкина», – подумал я. И не ошибся. Михалыч уже накинул фартук и натягивал перчатки.

– Артёмий, повремени, – сказал шеф, и я отошел от стола. – Коллеги, мы обязательно вскроем грудную клетку, но сперва я хотел бы обратить ваше внимание вот на что, – елеиным голосом произнес он, отгибая кожный покров в том месте, откуда торчал подключичный катетер.

Один из врачей заметно помрачнел.

Потом я предельно аккуратно вскрыл грудную клетку, скрепленную металлическими скобками. И пошел к соседнему столу – зашивать. Быстро затягивая мелкие стежки, из-за которых санитары прозвали меня «белошвейком», вслушивался в негромкий разговор Ситкина и реаниматологов.

– Внутренние швы в норме, хотя ткани и... – доносилось до меня.

– Я не вижу, что бы здесь могло... – сказала блондинка сквозь платочек, прижатый к лицу.

Заканчивая шов, я ждал главной фразы шефа.

– Ну, что ж, все очевидно, – наконец-то добродушно сказал Михалыч, снимая фартук и перчатки. – Да вы и сами видели, так ведь?

Врачи отвечали Ситкину глухой тишиной.

– А мог бы он сейчас кефирчик пить, – продолжал шеф, ни к кому не обращаясь.

– Виктор Михайлович, но ведь старческое одряхление тканей... – несмело возразил ему один из гостей.

– А как же вы хотите, товарищ уж не молод. Откуда ж ему взять упругие юношеские ткани? – хохотнул Михалыч, перебив неуверенного оппонента.

В ответ на его смешок врачи неловко улыбнулись, словно их улыбки были тайным знаком заговорщиков.

– Да только с таким одряхлением ваш дедуля еще лет десять мог бы с бабулей кадрили крутить, – вдруг добавил Ситкин слегка похолодевшим голосом. – А вот с кровотечением из порванной подключичной артерии он быстро спекся, – стальным баритоном отчеканил Михалыч, направляясь к выходу. Врачи торопливо двинулись за ним.

– В заключении, я считаю, будет правильно указать старческое одряхление, – сказал кто-то из врачей, фальшиво кашлянув.

– Давайте хоть старческое одряхление подключичной артерии напишем. Так честнее будет, – доносился из коридора удаляющийся голос Ситкина.

«Ну, вот... Кладбище имени подключичной артерии стало на одну могилку больше, – думал я, отправляясь за следующей жертвой аутопсии. – Если так дело пойдет, оно скоро в некрополь превратится».

Я и вправду видел так много этих порванных артерий, что со временем перестал переживать, как раньше. А вот когда впервые увидел в открытой грудной клетке плотные густые сгустки запекшейся крови, то не на шутку разволновался, побежал звать Михалыча. А он тогда сказал мне:

– Да не пойду я с тобой, Артёмий, на это безобразие смотреть. Сил моих нет больше. Вот если бы патанатомы главврачу не подчинялись... Были бы мы, например, как в Штатах – независимой службой... Вот тогда сейчас кто-нибудь непременно бы сел. Глядишь, и перестали бы артерии дырять, – устало сказал он, тяжело вздохнув. – Кстати... У них там, в мире чистогана, подключичный катетер исключительно хирурги ставят, – добавил он. И потянулся за сигаретой.

Но мир чистогана был далеко, где-то за океаном. А вот артерии и неопытные медсестры – рядом. И все повторялось. Неловкое движение, разрыв, кровь сочится в грудную клетку, отчего сердцу и легким становится тесно, и они решают, что с них, пожалуй, хватит. И... милости прошу ко мне на стол!

Держа перед собой патанатомическое заключение, поникшие от горя родственники старательно вчитываются в научное нагромождение медицинских терминов. А ведь вместо сложных диагнозов там должно быть написано всего несколько простых слов: «Убит медсестрой Клавой».

Впрочем, те, кого Клава отправила на тот свет, неловко дернув иглой и тихонько сказав «ой, блин», знают, как было дело. И однажды ночью медсестра вдруг неожиданно проснется в своей постели, чтобы в кромешной тьме услышать скрипучее: «Почто ж ты меня, деточка, иголкой своей убила? Украла годки мои... Украла – так отдавай. Чай, они мне не лишние».

И вот наконец-то долгожданный момент наступил. Я грезил о нем с самого утра, с того момента, когда передо мною возникла цифра 14. Я даже чувствовал подушечкой пальца гладкую пластмассовую белизну выключателя. Нажав его в 16.50, залил секционный зал синими вонючими кварцевыми лучами.

Вскрытия позади, но рабочий день еще не закончен. Плохотнюк говорил, что у него выдача в пять часов вечера. Родственники повезут хоронить своего мертвеца куда-то далеко, потому и забирают так поздно. Заскочив в «двенашку», я пошарил в холодильнике, добыл одинокий пряник и пошел в зону выдачи, где работал Плохотнюк.

Зона выдачи – звучит основательно, даже технологично. В действительности все скромнее.

Эта самая зона представляет собой две смежные комнаты. Одна – большая и квадратная. В ней стоят подкат для гроба, шкаф с косметикой, ветошью и всякими ритуальными принадлежностями вроде бумажных белых тапочек и дешевых пластиковых венков. Рядом заурядный стол – обычная рабочая поверхность, на которой разложены расчески, пинцеты, корнцанги, бритвы, тоналка, румяна, помада... Здесь мы готовим к последнему выходу в свет то, что осталось от человека. В соответствии с официально оформленным заказом, укладываем покойного в гроб, устраняем посмертные дефекты лица, гримируем, причесываем, закрываем гроб покрывалом. Делаем «ритуальное оформление» – вкладывая иконки и свечи в руки покойников. Закончив, продвигаем подкат с гробом вперед, через проем двустворчатой двери.

Теперь от вечного покоя усопшего отделяет блок приемки.

Это маленькое узкое помещенье скорее похоже на коридор, чем на комнату. Оно – святая святых Царства мертвых 4-й клиники. Именно здесь один из родственников усопшего (далее цинично именуемый Заказчиком) впервые видит его в гробу. И если со стороны Заказчика нет каких-либо нареканий или пожеланий, санитар приглашает его в небольшую комнатенку, вырастающую вбок из коридорчика. Ее аскетичное убранство состоит из задрипанного письменного стола, стула, старого коренастого сейфа и проигрывателя грампластинок, рожденного еще в Стране Советов, чьи провода тянутся к колонкам, скрытно вмонтированным в потолке траурного зала. Здесь представитель родни подписывает корешок счета-заказа, одобряя нашу работу вместо того, кто лежит в ящике и права голоса уже не имеет (впрочем, как и самого голоса).

Сколько раз в тот момент, когда дешевая шариковая ручка нервно выводила неровный автограф, мне чудилось, что мертвец, чуть приподнимаясь на локте, недовольно бубнит, глядя на Заказчика: «Да ты посмотри только, как они меня причесали! Что за дурацкий пробор? Я ж на себя не похож!» Потом прерывисто вздыхает, морщится, пытается на свой лад поправить прическу. После, недовольно отмахнувшись, будто говоря «ладно, плевать», смиренно ложится в тесные объятия древесины, такой же мертвой, как и он сам.

Заказчик расписался, и наш ритуал вступает в свою заключительную стадию. Мы вывозим гроб с телом в ритуальный зал, богато отделанный кремовым мрамором, ставим его на постамент... И исчезаем... Дежурная фраза «примите мои соболезнования» из уст санитаров звучит неправдоподобно, становясь неуместно пошлой, а потому мы не произносим ее. Как и следует настоящим профессионалам, мы уважительно не участвуем в чужом горе, ведь рядом с покойным и без того немало лишних равнодушных людей. Мы не черствы и не бессердечны. Мы равнодушны чисто профессионально. Это вынужденное равнодушие копится в нас годами, незаметно достигая критической массы, чтобы затем переродиться. Иногда в черствость, иногда в показной цинизм. Реже – в неосознанное чувство вины, изредка терзающее плаксивой нервозностью и необъяснимой тоской того, кто носит его внутри.

И вот очередной рутинный эпизод каждодневной работы затихает, уступая место мрачной симфонии последнего свидания. Она усыпана цветами, тяжкими искренними всхлипами, фальшивыми рыданиями, вежливыми вздохами и скрытым поглядыванием на циферблаты часов. Ее мелодия доносится до нас сквозь деликатно закрытые створчатые двери, за которыми мы сноровисто готовим к похоронам следующего клиента.

Я знаю эту партитуру наизусть, с первой и до последней ноты, со всеми возможными нюансами исполнения.

Я слышу ее, но не слушаю. Слышу лишь для того, чтобы не пропустить ее окончание. Когда она смолкнет, утонув последними аккордами в звуке отъезжающего катафалка, я тихо появлюсь среди кремового мрамора со шваброй в руках. Размашистыми широкими движениями смету следы произошедшего здесь ритуала: поломанный нервными пальцами стебель гвоздички, оброненную заплаканную салфетку, потерянную пуговицу, за которой точно никто не вернется.

Освободив зал для следующего горя, выйду из его высоких черных дверей, остановившись на массивных ступенях крыльца. Враз смолкнув, толпа обнажит тишину обнесенного забором двора, в которой станет отчетливо слышно хрипловатое урчание автобусов с табличкой «ритуал» за лобовым стеклом, будто уточняющей конечный пункт назначения.

Десятки глаз тех, кто ждет своего мертвого, молча взметнутся на меня. В них будут вопросы, что задают обычно работникам сферы обслуживания населения:



«уже готово?», «сейчас наша очередь, да?», «надеюсь, там все нормально?», «нельзя ли чуть побыстрее?».

Но иногда среди них бывают такие глаза, которые ни о чем не спрашивают. Они неистово умоляют, безмолвно крича осипшим шепотом: «Заклинаю! Скажи, что он жив!!! Произошла нелепая ошибка, кто-то что-то напутал... Ведь может такое быть?! Бывает же, да?! Ну!!! Просто скажи это!!!» Смотря поверх голов, чтобы не встретиться взглядом с кричащим, я не вижу его, но знаю, кто он такой. Он тот, в ком беснуется жестокий фантом упрямой, бессмысленной надежды, которая внезапно поднимается в нем наперекор разуму, словно могучая волна посреди притихшей водной глади. И вот тогда мне становится жутко. Столько лет прошло, а я все никак не привыкну...

И чтобы не слышать этого вопля, произношу равнодушным лицом следующую фамилию из сегодняшнего списка. И добавляю: «Только заказчик, с документами». И рывком погружаюсь в техническое обеспечение похоронного процесса, торопливо опустив перед собой тяжелую надежную занавесь безучастности.

Итак, вернемся в 7 июня, понедельник. Простенькие пластиковые настенные часы показывают ровно пять. Боря Плохотнюк отступает на пару шагов от обитого шелком гроба, стоящего на подкате. Пристально смотрит требовательным взглядом на свою работу, затем подходит и аккуратным движением поправляет редкие седые волосы старика изумрудно-зеленой расческой, будто художник, оставляющий автограф на законченном полотне. Поднимает глаза на меня, кивая на результат труда.

– Тёмыч, глянь-ка... Порядок?

– Вполне, – устало отвечаю ему, вскользь оглядывая покойника. По всему видно, что Плохиш ждал куда более весомой похвалы.

– А ты чего это такой чистый? Неужели все четырнадцать душ зарезал? – спрашивает он, сбрызгивая изголовье гроба польским парфюмом с грассирующим французским названием.

– Пятнадцать, Боря, пятнадцать. Было бы шестнадцать, да родственники одного, который из клиники, заявление на «без вскрытия» написали.

– Ну, ты и машина! Я бы до ночи провозился.

– Будет у тебя такая возможность, повозишься еще... Время пять, отдавать пора, – напоминаю я. – Еще ведь завтра одевать, так что... ты не затягивай.

– Все-все, уже отдаю, отдаю, – скороговоркой выстреливает он, продвигая подкат в комнату-коридорчик.

В общем-то, я ему не нужен. Он прекрасно справится сам, несмотря на то, что работает дневным санитаром совсем недолго и не успел накопить достаточно опыта. Я было решил отправиться отдохнуть в уютную тишину «двенашки», но почему-то остался. Наверное, интуиция...

Устроившись за столом в комнате с сейфом и проигрывателем, приготовился выдать заказчику квитанцию на ритуальные услуги. Вскоре он появился, проходя к гробу вслед за Плохотнюком. Крупный коренастый мужчина, в строгом черном костюме, курчавый, со слегка одутловатым мясистым лицом. Остановившись перед телом, он несколько секунд смотрел на плоды Бориных стараний, после чего тихо пробормотал «да, вот оно как».

– У вас есть какие-нибудь претензии или пожелания? – спросил Плохотнюк мягким приглушенным голосом, как и учили старшие опытные коллеги.

– Что? – растерянно переспросил заказчик. – А, нет-нет, все в порядке, – тут же ответил он, поняв, о чем идет речь.

– Тогда нам нужно оформить документы. Прошу сюда, – жестом указал на меня Боря. Заказчик немного робко прошел в комнатку, где я выписал ему квитанцию. Поставив свою подпись на ней, мужчина вдруг переменялся в лице.

– От ведь, чуть было не забыл! Дядя Миша, – кивнул он на гроб и нервно сглотнул, – говорил, что когда мы будем прощаться с ним здесь, у вас... чтобы играла органная музыка. Он орган очень просил, очень... Это можно?

– Конечно, как скажете, – ответил я, вставая из-за стола и подходя к проигрывателю.

– Это не я, это дядя Миша так сказал, – немного испуганно сказал заказчик, будто бы представив тот день, когда придет черед выполнять его собственную просьбу. – Сколько я вам за это должен?

– Вы ничего нам не должны. Музыка я включу. Фуги Баха, ничего другого из органа у нас нет, – произнес я, вынимая пластинку.

– Да-да, конечно, фуги, да... – согласно закивал он, зачем-то оглянувшись на дядю Мишу.

Поставив гроб на постамент, мы, как и всегда, тихо исчезли за дверями ритуального зала, что отделяли парадную скорбь мрамора от кафеля и линолеума нашего рабочего пространства. Но на этот раз мне пришлось незримо участвовать в прощании, выполняя последнюю волю усопшего.

Подождав, когда стихнут шаги и глухие причитания дядь-Мишиной родни, наполняющей собой зал, я включил проигрыватель, который между собой санитары называли «граммофончиком». Еле различимое шипение опустилось сверху на стоявших у гроба. Резво пробежавшись по краю пластинки, игла ткнулась острым жалом в звуковую дорожку. И спустя секунду обрушила на собравшихся первые глубокие аккорды, которые много лет назад властно взял в стенах Московской консерватории какой-то известный органист. За ними зазвучали и другие, низвергая на дядю Мишу и его родственников масштабные возвышенные гармонии, струящиеся в ритуальный зал сквозь сотни лет, отделяющие нас от великого Иоганна.

«Как же это все-таки сильно... и мощно, – подумал я, вслушиваясь в музыку. – Странно, что так редко просят включить. На моей памяти всего пятый раз я граммофончик завожу. И почему?»

Не прошло и нескольких мгновений, как я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Органную гармонию Баха вспорол жуткий женский вой. Я вздрогнул. Вязкие секунды медленно сменяли друг друга, а вой все не прекращался. Захлебываясь в судорожных столах и рыданиях, он то стремительно взлетал вверх, звеня в гулких мраморных стенах, то снова утопал в истеричном плаче, падая вниз к гробу.

– Вот черт, а... – озабоченно сказал я, открывая ящик стола, где ждали своего часа сердечные капли. – Ну, денек...

Раньше, чем успел дотронуться до пузырька с пахучим лекарством, дверь ритуального зала гроыхнула, лязгнув ручкой. В проеме показался высокий молодой парень, бледный и перепуганный.

– Выключите это, скорее!!! – сдавленным шепотом выпалил он, вплотную подскочив ко мне и озираясь по сторонам. Я тут же подхватил иглу, разом оборвав известного органиста. – Не включайте, а то маме плохо.

– Понял, – кивнул я, пытаюсь предложить сердечные капли, но родственник покойного стремительно скрылся за дверьми зала. Рыдающий женский вой стал затихать, рассыпавшись на причитания.

«Сильно, конечно... и мощно... тяжеловато только», – подумал я. Едва перевел дух, как дверь тут же отворилась вновь.

Теперь передо мной стоял уже знакомый заказчик. В отличие от бледного высокого парня он был пунцового цвета, с гневно выпученными глазами.

– Молодой человек, я же вас просил! – властно сказал он, обильно выдыхая всей грудью. – Воля покойного должна быть исполнена!

– Но только что мне сказали, чтобы... – начал я, но курчавый здоровяк прервал мои оправдания:

– Заказчик я! И я решаю... Ставьте!

Аргумент был весомый, и я вновь погрузил иглу в концерт Баха, надеясь, что больше не услышу того страшного женского крика. Вместе с первыми органами аккордами заказчик вернулся в зал. И тут же вопль грянул с новой силой, быстро раскручивая маховик истерики.

– С ним... с ним вместе уйду!!! – доносились из зала обрывки отчаяния, отраженные от звонких мраморных стен. Стоны и выкрики наслаивались на бессмертные фуги, рождая жуткую импровизацию, страшную и диковинную

одновременно. Рука потянулась к игле против моей воли, готовая нарушить последний наказ дяди Миши. «Ничего, сейчас они ее уведут в машину, и все закончится», – успокаивал я себя, чувствуя, как большая капля пота заструилась между лопатками.

Но... Все только начиналось.

Когда дверь открылась в третий раз, я увидел полную женщину средних лет, с копной рыжих волос, рвущихся наружу из-под черной кружевной косынки.

– Я прошу, выключите! Выключите! Вы что, не слышите – женщине плохо! – с гневным напором начала она. И хотела еще что-то добавить, но позади нее появился заказчик.

– Мария, прекрати немедленно! – зашипел он на нее вполголоса, прикрывая дверь в зал. – Это же было его желание!

– Так ты видишь, что творится с тетей Полей?! Юра, хватит уже!! – зашипела она в ответ, решительно уперев в бок руку, унизанную массивным золотом с крупными искрами бриллиантов. – Выключайте сейчас же, я вам говорю! – решительно сказала она, обращаясь ко мне и к заказчику разом.

– Мария, я тебе повторяю! Это воля покойного! О ней все знают! И я ее исполню! Дядя хотел орган – и орган будет!!! – яростным полусшепотом продолжал здоровяк, коротко поглядывая на меня, будто ища поддержки.

Больше всего на свете хотелось оставить эту парочку наедине с дядей Мишей, его последним желанием и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Но в этой непростой ситуации я не мог ретироваться. Казалось, что если предоставить их самим себе, непременно случится драка за граммофончик.

– Дядя хотел орган! – с нажимом повторял заказчик, словно погребальное заклинание.

– Если орган будет и дальше, то у нас скоро не будет тети!! Ее же сейчас удар хватит! Ты этого хочешь, идиот?!

Тем временем фуги набирали обороты, источая эпический трагизм каждой нотой. Вопли и стенания не отставали от органных пассажей, выплескивая на полированный пол траурного зала бесконечные тонны горя. Мой неосознанный животный страх крепчал с каждой минутой, будто питался этим воем.

– Маша, успокойся, я тебя умоляю, – с примирительной интонацией отвечал курчавый крепыш Юра, одним правильным шагом встав между мной и Марией, отрезав ей путь к граммофончику.

– Да при чем здесь я?! Что с тетей Полей-то будет, ты об этом...

– Тетя Поля хоронит мужа, если ты заметила! Она очень переживает, и ее можно понять! Если человек убивается у гроба – это нормально, это похороны! – с трудом сдерживался заказчик, лицо которого багровело прямо на глазах.

– Ее твой орган доконает, тупой ты придурок!! Ты думаешь, дядя Миша этого хотел?

– Не мой орган, Маша, а дядин! Дядин орган!! И дядя этого хотел!! И просил меня об этом, при свидетелях! А я ему дал слово, понимаешь?! И слово это...

– Выключай, скотина бездушная! Ты что, не слышишь, что с ней творится?! – тыча толстыми сверкающими пальцами в дверь зала, шепотом кричала она, размашисто утирая с лица обильный пот. – Если с ней будет сердечный приступ, я тебя собственными руками...

– Мария, опомнись! Мы все должны пережить эту боль! И этот... – он яростно замельтешил перед ней рукой, судя по всему, забыв слово «орган». – Эта музыка – самое малое, что мы должны сделать для него! Не перебивай меня! Обязаны сделать ради его памяти! Все мы, и тетя Поля тоже! Даже если ей очень тяжело!

– Ты что, кретин, думаешь, если бы дядя знал, что сделает с его женой эта музычка, он бы стал о таком просить?! Да он бы первый прекратил этот... этот...

Она закрыла лицо руками и принялась мелко беззвучно вздрагивать, отчего бриллианты на ее пальцах игриво засверкали на все лады. Заказчик нервно взъерошил курчавую шевелюру, тяжело, прерывисто вздохнул и так неуклюже

погладил Марию по плечу, как будто хотел отряхнуть, а не успокоить.

– Дядя Миша жил с тетей Полей сорок пять лет... – убавив злобы в голосе, тихонько сказал заказчик под аккомпанемент тетиных воплей и Баха. Говоря это, он почему-то выразительно смотрел на меня. – Видит Бог – он знал ее даже лучше, чем она сама себя знает. У них было на это время. И ты прости меня, Маша... Я тут ни при чем, спрашивай с дяди, если теперь он тебе ответит... Когда он умирал, прожив со своей женой сорок пять лет, он хотел, чтоб у его гроба звучал орган. А зачем – он не пояснил. Но это – факт! И чтобы мы чтили его последнюю волю – он тоже хотел... Это, в конце концов, его похороны, и они пройдут так, как он хотел... А тетя Поля... У тети Поли свои похороны будут.

– Сволочь! – с чувством процедила Мария, всхлипывая сквозь ювелирные пальцы.

– И ее завещание будет исполнено, – твердо сказал Юра, пристально взглянув на Марию и не обращая внимания на ее реплику. И еле слышно добавил: – Даже если она фокстрот потребует.

Наскоро утерев заплаканное лицо скомканным платком, Мария презрительно взглянула на заказчика и вышла в зал. Когда она открывала дверь, орган Баха вперемежку с тетиными рыданиями обдал нас с головы до ног. Юра поморщился, чуть согнувшись, будто его несильно ткнули под дых.

– Есть сердечные капли, – предложил я ему, облегченно выдохнув. В ответ он лишь не глядя отмахнулся.

– Ладно... выключай, – медленно произнес он. – Я свое слово сдержал. Был орган.

Хищная игла перестала жалить виниловые канавки, отчего Бах исчез посреди аккорда. Подойдя к двери в зал, заказчик замер, повернулся и спросил, глядя куда-то далеко сквозь меня:

– И зачем он ему понадобился, орган этот?

Затем недоверчиво прищурился, словно прислушиваясь к какой-то мысли.

– А может, и впрямь, а? – тихонько пробурчал он себе под нос, горько хмыкнул, покачав головой, и, аккуратно открыв дверь траурного зала, исчез среди родственников дяди Миши.

«Вот вам, Иоганн Себастьянович, и сила искусства. Неужели, действительно... – думал я, вспоминая последнюю фразу заказчика и убирая пластинку в потрепанную бумажную обложку, – ...неужели дядя Миша и впрямь просил орган, зная, как он подействует на тетю Полю?»

Плохотнюк сдержал слово, данное мне сегодня с утра. Признав мой секционный подвиг, на который сам не был способен, он самостоятельно одел девять постояльцев нашего холодильника, подготовив их к завтрашним выдачам.

– Ну, как там? Отдал, все гладенько? – спросил он, появившись в комнате отдыха и заваривая свой любимый фруктовый чай, отчаянно смердящий каким-то фальшивым химическим фруктом.

– Отдал, конечно... Нормально все. Дуэль небольшую наблюдал.

– Чего? Какую дуэль? Кто с кем? – напряженно замер Плохиш, перестав помешивать красноватое пойло.

– Кто с кем? Живые с мертвыми, если я правильно все понял, – задумчиво ответил я.

– В смысле?

– Живые и мертвые против живых и живых.

– Слушай, Тёмыч, хватит мне в мозги гадить! Скажи нормально, что было-то?

– Да родственники чуть поспорили. Все нормально, мы здесь ни при чем, – улыбнулся я, глядя на встревоженного Борьку.

– Ну, слава богу. Значит, так... Я на завтра всех одел. Первая выдача в 9.15, так что ты не опаздывай.



– Так я теперь не скоро опоздать смогу, даже при всем желании. У меня ж Большая неделя.

– Вот и чудненько, – обрадованно сказал Боря. – Раз такое дело... Может, я тогда завтра опоздаю, а? Я ж Плохотнюк, а веду себя примерно, словно паинька. Аж самому противно.

– Э, нет, брат... Свою чудную фамилию оправдывать будешь в свободное от работы время. Чай посоли, соседям глазок замажь, по телефону нахами кому-нибудь. В общем, все, что душе угодно. Только в лифте не ссы. Поймают – на работу напишут, стыда с тобой потом не оберемся.

– Эх, Тёмыч, ну что за идеи?! Никакой фантазии, ей-богу... Лучше я соседку в гости позову. Матушка пирог с капустой и яйцами сделать обещала. Вот я ее на пирог и позову.

– Благородный позитивный поступок, Борян. Плохотнюку как-то даже не к лицу, – хохотнул я. – В чем прикол-то?

– Да соседка у меня уж третий год диетами себя изводит, все похудеть пытается. А пироги любит – больше жизни. Она когда рядом с пирогом... зрелище очень занятное. Борьба духа с чревоугодием, и наоборот.

– В кого ж ты такой вредный, Боря? – с усмешкой поинтересовался я.

– Как в кого? В батю, в деда, в прадеда. У меня ж по отцовской линии все Плохотнюками были. Брат старший – и тот Плохотнюк. В общем, полный набор Плохотнюков. Когда вместе собираемся – самым страшно! Вот так-то... Ладно, пойду я переоденусь – и домой... – подытожил Боря, смакуя сладкий зевок, такой заразный, что и я невольно зевнул.

Между тем домой собирался не только мой напарник. Торопливые шаги лаборантов и врачей спешили к двери служебного выхода, изящно стуча каблучками женских туфель, тяжело бухая каблуками мужских ботинок, шурша легкими баретками и стоптанными кроссовками. Они упорно стремились к очагу. Кто к своему, а кто и к чужому, чтобы на время сделать его и своим тоже. Блаженно жмурясь от предчувствия домашнего уюта, сотрудники отделения громко хлопали невзрачной дверью служебного входа, стараясь скорее оставить

ее позади.

Обитатели кабинетов и кабинетиков так резво покидали свои рабочие места, что вскоре коллектив патанатомии совершенно иссяк, оставив меня в заложниках в Царстве мертвых. Смерть ничего не знает о нормированном рабочем дне, о тридцати календарных днях отпуска и выходных. Да и на государственные праздники ей совершенно наплевать. И уж если она заявится с визитом, в компании парочки своих, еще теплых, неофитов – кто-то из живых должен ее радушно встретить. И в ближайшие семь дней этим живым буду я.

Я знал это и никуда не спешил. Не то чтобы не хотел домой. Напротив. Очень хотел. Но, в отличие от моих коллег, был в привилегированном положении. Мне не надо добираться до дома, ведь он был рядом со мной, весь день послушно дожидаясь, пока я закончу свою тяжелую грязную работенку. А когда закрылась дверь за последним уходящим, комната номер 12 раскинула мне свои объятия. Словно извиняясь за мое вынужденное затворничество, она старалась разом стать Родиной, семьей и домом.

Сперва проверив, закрыты ли все двери в отделении, я навел ревизию в холодильнике и плюхнулся на диван, включив телевизор в ожидании выпуска новостей. На часах было почти семь вечера.

Как только ко мне подкралась заслуженная нега – раздался телефонный звонок. Что было сил ненавидя его, поднял трубку, привычно сказав «патанатомия, слушаю вас».

– Добрый вечер. Есть кто живой? – раздался обстоятельный вопрос.

– Ух ты, какие люди в эфире! – улыбнулся я. Звонил Филя, мой старый приятель, все реже и реже появляющийся в моей жизни.

– Тёмыч, у меня вопрос. Ты ценными бумагами не интересуешься ли, часом?

– Я? Ценными бумагами? Дружище, это Тёмыч. Ты меня ни с кем не путаешь?

– Нет вроде. Я в морг не так часто звоню. И только тебе.

– Все правильно. Я, Филя, санитар, а не брокер. Если честно, я, конечно, представляю в общих чертах, что такое ценные бумаги... Но мы с ними очень далеки друг от друга.

– А если подумать головой, а не жопой? – не унимался Филя, в голосе которого появились признаки раздраженного нетерпения.

– Думаю, погоди.

– Точно, головой думаешь? Я тогда подожду.

Было понятно, что мой непутевый приятель, без определенного рода занятий и с определенным прошлым, пытается мне что-то сообщить в иносказательной форме. А вот если он действительно про акции с облигациями речь ведет – тогда беда. Значит, наконец-то свихнулся.

– А что, очень ценные бумаги? – спросил я, пытаюсь нащупать ключ к шифру.

– С моей точки зрения, они сильно недооценены. Я уверен, что это хорошее вложение капитала.

– А-а, вот оно что, – протянул я. Ключ был найден. Филя в своем уме, это приятно. «Вложить капитал» означало приобрести что-то запретное. Осталось разобраться с «бумагами».

– Да, я бы приобрел одну акцию. Я несколько поиздержался, и одной акции мне будет вполне достаточно.

– Я буду у тебя минут через сорок. Может, раньше.

– Очень жду.

Повесив трубку, я сел на диван, озадаченно и удивленно оглянувшись. И хотя вокруг меня ровным счетом ничего не изменилось, я был искренне удивлен тому, как сильно повлиял на меня этот дурацкий разговор про фондовый рынок, к которому я еще минуту назад решительно не хотел иметь никакого отношения. Конечно же на ценные бумаги мне и сейчас было глубоко наплевать. Но

истинный смысл сказанного взволновал меня каким-то особым, странным, волнением. Было очень сложно понять, радостное оно или нет. От него не осталось и следа, руки покрылись нервной влагой, нарастающий аппетит разом пропал. Состояние, слишком спокойное для паники и слишком тревожное для радости.

Я вспомнил, как я испытывал подобное чувство, когда пару лет назад, в Крыму, мы с другом решили покорить одну из живописных скал, нависающую над потасканным курортным поселком. Подножье коварной вершины разочаровало нас. Туристические тропы, на которых паслась группа пионеров с парочкой вожатых, не обещали трудного восхождения. Но мы все-таки пошли, решив, что если славы альпинистов и не добудем, то хотя бы добудем фотографии здравницы с высоты птичьего полета. Лесистая часть все не кончалась и не кончалась, и штурм вершины напоминал прогулку в парке, но с небольшим уклоном. Тут мы окончательно перестали чувствовать себя альпинистами, дружно решив, что зря не отправились на пляж. И были раздосадованы.

Спустя час мы снова решили, что зря не пошли на пляж. На этот раз были охвачены тем самым волнением, которое было сродни тому, что настигло меня после звонка Фили...

Лесистая часть наконец-то закончилась, и мы продолжали двигаться вперед по каменистому телу скалы, поросшему хилой травкой. И вот тут... Мы даже не заметили, как туристическая тропа превратилась в непростой маршрут. Спустя несколько минут нам стало ясно, что мы можем подниматься только вверх. Любые попытки спуска вдруг стали смертельно опасными. Спустя еще какое-то время мы признались себе, что вниз по-прежнему нельзя, да и вверх – очень сложно. Тут уже волнение прошло, разом уступив место страху. Так сильно на пляж не хотелось никогда.

Нам тогда повезло. Очень. Как выяснилось позже, последнюю часть пути мы поднимались по маршруту, на котором альпинисты сдают норматив на звание кандидата в мастера спорта.

И хотя, сидя на мягком диване в уютной «двенашке», страха я не испытывал, крымское приключение так и стояло перед глазами. «Мандраж – вот как это называется», – вспомнил я.

– Каждый раз как в первый раз. Очень верно подмечено, – пробубнил я, глядя на часы. До визита моего непутевого приятеля оставалось каких-то 20–30 минут. Одинаково сильно хотелось, чтобы он приехал сейчас же и чтобы он не приехал вовсе. Признаюсь, я нервничал все сильнее.

И было от чего.

Я предвидел события, знакомые и при этом всегда разные, которые грянут вслед за Филиным визитом. Казалось бы, скоротечные, они позволят мне возвращаться к ним вновь и вновь, словно листая фотоальбом из другой жизни, что есть сил надеясь, что жизнь эта существует где-то там, слева и сверху. А потом, присматриваясь к стремительно прошедшим часам, заходиться в тоске от одной мысли о том, что вся эта магия может оказаться искусной иллюзией.

Впрочем, расскажу обо всем честно, без утайки. Но только о том, о чем стоит рассказывать. А вот всякие смачные и яркие побочные подробности описывать не стану, чтобы не обвинили в растлении умов и открытой пропаганде.

Итак... Землеройка. Кто? Ты. Ты – землеройка. Маленький зверек, в основном живущий в норах под землей и роющий ходы из одной норы в другую. Нелегкие земляные работы и инстинкт размножения полностью занимают твое существование. Вернее, они и есть твое существование в огромном ярком мире, который переливается красками и стихиями. Влажное, сухое, серое, черное, твердое, коричневое, бежевое. Жизнь твоя богата событиями и возможностями. Вовремя распознавая опасность, раз за разом эффективно выживаешь. Знания, навыки и усердие приносят наглядные результаты. Ты долго рыл и оттаскивал грунт. И вырыл. Искал, нашел и съел, чтобы были силы рыть дальше. Спарился. Роешь с удвоенной силой, расширяешь территорию и пестуешь потомство, надеясь на то, что они будут рыть лучше тебя. И все это не зря. Объективно говоря, ты совсем не хуже других землероек, и даже лучше некоторых. Но пиком твоего развития, самым ценным моментом твоей жизни, была и остается экспансия. Тебе случается опрометью перебегать от одной норы в другую, прячась в узкую промоину, оставленную хилым ручейком. Запахи, звуки, движение воздуха говорят о том, что над тобой что-то огромное и опасное, словно первородный хаос. Страх, риск, внезапные смертельные угрозы, инстинктивная отвага наполняют канавку отчаянного рывка доверху. А преодоление дарит твоим утомительным будням высший смысл. И тогда – счастье. Ты – счастливая землеройка.

И вот как-то раз... ты очертя голову снова несешься по земляному желобку к заветной цели. Вдруг, на середине дистанции, тебе начинает казаться, будто что-то идет сильно не так. Стараясь не обращать внимания на эти пустые страхи, неистово рвешься вперед, веря, что добежишь, как это бывало раньше. Но беспричинная тревога все нарастает и нарастает, словно из ниоткуда. В последний момент ты отчетливо чувствуешь – что-то движется на тебя сверху. Вкладывая все силы в запоздалый рывок, понимаешь, что не успеть. Цепкие когти впиваются в жесткую шкуру, но...

Нет, не для того, чтобы разорвать, а для того, чтобы надежнее держать тебя. Толчок, свист, качка... И...

И землеройка взмывает над землей, зажатая в крепких когтях сапсана. Через считанные секунды, забравшись метров на триста, она уже парит над холмистой грядой, которая сползает в могучее бесконечное море, качающее тонкую невесомую яхту. Ослепительно голубое небо, край которого затянут грозowymi тучами цвета графита. И простор такой, осознать который так же невозможно, как бесконечность вселенной.

Все. Никогда землеройка не будет прежней.

Ни-ког-да!!!

И дело не в небесах, яхтах и морских просторах. Бедная зверушка, разом взмывшая выше своего понимания, не знает, что это такое. Ее откровения куда проще, а потому куда масштабнее. Синий! Голубой! Зеленый! Вот что станет для землеройки базовым потрясением. И простор... Простор раскроет перед ней истинный масштаб сущего. И масштаб ее собственный.

Но пройдет время, совсем немного, и сапсан деловито вскинет левую лапу, кинув ртутный взгляд на часы.

Время откровений истекло. Заложив крутой левый вираж, высотная птица швырнет очумевшего зверька обратно в канаву, рядом с норой. Землеройка, повинувшись многолетней привычке, юркнет в свое темное убежище. И замрет там, зная, что такое синий, голубой и зеленый. Инерция прежней жизни закрутит ее в водовороте ежедневных хлопот.

А потом она начнет задавать себе вопросы. Что это было? Нет, не так... Это было? Предположим, было. Значит, есть синий. И зеленый. Черт с ним, с зеленым. С синим бы разобраться... Итак, синий есть. Но там, где я – его нет, не было и не будет. Значит, я в том месте, где нет синего. Но где-то он есть, так? Я же видела! И там я была такая маленькая-маленькая землероечка. Да и была-то я там только благодаря орлу. А где его нет – я большая. Получается, что... Что? Что есть маленький мир, где все понятно, и другой, огромный, бездонный, где – синий и полная беспомощность. Кстати, зеленый тоже там. И зачем нужен синий в норе? И что мне с того, что я знаю про синий, если я в норе?

Вопросы эти множатся, приобретая множественные смыслы и сплетаясь в куски, иногда доводя бедную зверуху до отчаяния, а иногда даря ей надежду на понимание. И если землеройка никак не может забыть синий... Если вспоминая простор, она не тупеет от ужаса... Тогда, рано или поздно, наступит переломный момент. Вслед за вопросом «зачем мне синий в норе?» приходит другой вопрос: «Зачем я в норе, если знаю, что синий есть?»

«Ну, и что потом?» – спросишь ты. Потом землеройка начинает вести себя странно. Странно с точки зрения других землероек. Часами она терпеливо медленно ходит по краю канавы. Превозмогая собственную анатомию и адскую боль, пытается задрать в небо не приспособленную для этого морду. Нет, синий здесь ни при чем. Она ждет орла.

В тот вечер, 7 июня, орел был так любезен, что позвонил мне и предупредил о своем визите за сорок минут, как порядочная птица.

Подходя к двери служебного входа, я почему-то ярко представил Филью в индейском костюме орла. Ухмыльнувшись, дважды щелкнул ключом и открыл дверь.

Да, все тот же Филька, но стал солидней смотреться благодаря бороде и усам. Обнявшись, мы принялись врать друг другу все то, что врут воспитанные люди, не видевшиеся полгода. Закончив с враньем, расположились на диване в «двенашке», напротив бубнящего телевизора.

– Вот, держи. Чтоб знал, как настоящие ценные бумаги выглядят, – сказал Филья, чуть улыбаясь одними глазами и протягивая мне целлофановый пакетик от сигаретной пачки. В нем лежал маленький белый кусочек бумаги.

- Странная какая-то облигация, - протянул я, отдавая ему пару купюр и разглядывая приобретение.

- Ага, без рисунка. Но качество обещаю.

- Тебе - верю. Это люся, да?

- Не знаю, молодой человек, что вы называете «люсей», - важно ответил Филя, поправляя несуществующие очки. - То, что вы держите в руках, в научных кругах известно, как диэтиламид лизергиновой кислоты. Или ЛСД.

- И сколько тут?

- Около 600 микрограмм. Где-то десять часов действия.

- Изрядно, - нервно сглотнул я.

- Я надеюсь, ты не станешь принимать это один, ночью, да еще и в морге?

- Если честно - собирался.

- Лично я рекомендую на природе и с близкими друзьями. Но... Дело ваше, сударь, дело ваше.

- Мне завтра в девять утра надо быть обычным заурядным санитаром, - с какой-то жалобной интонацией сказал я.

- Сейчас 19.30, - констатировал Филя, вскинув руку с часами. - Ну, если ты полон решимости, тянуть не стоит.

- Ага, не будем тянуть, - согласился я и отправил бумажку в рот.

- А, вот еще просьба. Ночью мне не звонить. Все восторги при встрече.

- Обещаю. Да и на хрена ты мне сдался? У меня тут полный госпиталь круглосуточных работников. Рота милиции, служба газа, дежурный терапевт...



- Дежурный психиатр есть?

- Вот чего нет того нет.

- Досадно. Через часок вы бы с ним быстро общий язык нашли.

- А через три?

- Ну! Через три тебе с ним скучно будет.

Диалоги наши стремительно пустели. Филя сделал несколько звонков, успев поругаться с какой-то девкой.

- Это не баба, а какое-то необходимое зло, - резюмировал он разговор и принялся прощаться.

- Буду ждать ваших отзывов, сударь, - сказал Филя, стоя в дверях служебного входа.

- Всенепременно сообщу, - ответил я ему в том же стиле.

Закрыв за ним дверь, я вернулся в 12-ю комнату и плюхнулся в кресло - ждать момента, когда цепкие когти вопьются в меня и потащат вверх, туда, где зеленый и синий. А в синем колышется яхта, подставив стихиям послушные паруса. Мысли затеяли суетный хоровод, мелькая беспорядочными картинками прожитого.

...Вдруг вспомнился Николай Васильевич, дед моего одноклассника Олежки. Рослый, широкоплечий, с размашистым русским лицом, назло времени сохранивший безупречную осанку и ясную голову. Ушел на фронт, когда ему было 19. Пройдя пехотинцем всю кровавую Великую Отечественную, он редко говорил о тех временах, хотя мы частенько просили об этом. Лишь выпив чуть большего обычного, он иногда раскрывал перед нами тяжелую книгу своей памяти. И тогда яркие, объемные картинки вставали во весь рост в гостиной Олежкиной квартиры, роняя тугие кровавые капли на новый ковер.

В день 13-летия моего друга, когда все гости убралась восвояси, мы, дождавшись удобного момента, стали наперебой упрашивать Васильича показать нам один из кусочков той жуткой войны. Отказать родному имениннику он не смог, на что мы и надеялись. Усевшись на край дивана, дед глянул на нас с прищуром... И начал.

– Значит, про войну, сорванцы, хотите...

– Деда, а расскажи про самый-самый жестокий бой. Ну, пожалуйста! – заговорщически, почти шепотом, попросил Олег, косясь на закрытую дверь гостиной, за которой были слышны голоса его родителей, не одобрявших кровавых подробностей военных историй Николая Васильевича.

– Да немало их было, таких, – ответил он, стремительно превращаясь из старика, в домашнем спортивном костюме и потрепанных тапочках, в солдата.

– А самый-самый помнишь? – не унимался внук.

– Самый-самый... Это... под Ржевом дело было, в 42-м. Немцев уж тогда из города-то выбили, отступали они. Народу там полегло немерено. Из тех, кто Ржев брал, почти и не осталось никого. Наш полк из резерва тогда на передовую бросили. Дали нам приказ немцев с высоты выбить. Они, гниды фашистские, крепко за нее зацепились. Пулеметные гнезда поставили, бетоном укрепленные, доты называются. Мы у них как на ладони были. Рота наша в окопах засела, которые гады эти оставили. А дальше – никак. Пулеметчики их головы нам поднять не давали. А кто поднимал, так сразу замертво и ложился. Дважды мы в атаку ходили – только народ угробили. Я тогда чудом выжил, а вот кореш мой Димка Ефимов там и остался. Ну, думаю, если в третий раз пойдём – закончатся мои мучения. Уж подыхать приготовился, крестик нательный сжал покрепче и молюсь, как умею. Вот тут-то меня Боженька и услышал.

Сказав это, Васильич шумно сглотнул и наскоро перекрестился.

– Услышал? Как это? – нетерпеливо спросил я.

– Как? Ротный наш, Сан Саныч Макаров, он недалеко от меня был, все по радиации помощи просил, да только без толку. Танки на другом направлении наступали. Не нашлось для нас ни брони, ни самолетов.

– А пушки? – выпалил взволнованный Лешка.

– Артиллерия... Если б и была недалеко, так одна ошибка, и нас бы самих положила. Лежим мы мордами вниз, кто раненый стонет, кто в дерьме своем плачет, кто молится – приказа атаковать ждем, будто смертники. И вдруг ротный отступить скомандовал.

– Отступить? – хором переспросили мы, разочарованные таким не геройским поворотом истории.

– Так точно, отступить. Те, кто прикрывать отходящих остался, почти все и полегли. А мы, словно зайцы петляя, за полесок бросились. Там и засели, – тяжело вздохнул он и замолчал, отвернувшись и пряча от нас влажные глаза.

– А дальше, деда? Выбили вы фашистов?

– Выбили, внучек. Да только не мы. Минут десять прошло после отступления... Гляжу, к полеску, где мы попрятались, грузовики едут. Пальба стоит, грохот... А из машин тех гармонь надрывается, да песню хором кто-то горланит.

– Военную? – уточнил Олежка.

– Не... «Яблочко». Эх, яблочко, куда ты котишься, эх да пропадешь, не воротишься, – так лихо пропел Лехин дед надтреснутым хриплым голосом, что аж мороз по коже. – Только машины затормозили, как из кузовов матросня посыпалась. В бушлатах черных, пулеметными лентами перепоясанные, бескозырки на затылок заломлены, тельняшки торчат... кто в крови, кто перевязанный. Пьяные, небритые, рожи бешеные, глаза шальные, навывате, гранатами жонглируют. Хохочут, песни орут, аж пританцовывают... будто в клуб на танцы пожаловали, девок щупать, а не под пулеметы немецкие. Чисто черти, ей-богу! Аж страшно стало. И мат такой зверский стоит, какого я отродясь и не слыхивал. Нас увидали, гогочут... Ну, что, мол, колхознички, обосрались? Кричат «в погреба, к бабам своим под юбки убирайтесь, а мы пока немца бить станем!». Страшно, мол, за Родину сдохнуть? Так мы сейчас вам покажем, как это матросы-балтийцы делают. А один из них, помню, сказал «вот фашистов положим, а уж после и с вами, дезертирами, разберемся». Ствол на нас наставил и ржет так залиvisto, остановиться не может. Потом они фляжки достали,

водки тяпнули, да как под гармонь грянут «Вставай, страна огромная!». И вперед...

- И что? – ошарашенно спросил Леха.

- Получаса не прошло, как пулеметы немецкие замолчали. Потом нам приказ дали на высоте укрепиться. Двинулись мы из полеска, глянули, а высота от бушлатов вся черная, матросиками завалена. Вот тогда-то я впервые поверил, что победа наша будет. Пока солдат русский смерти в рожу плюет да посмеивается, нет таких армий на свете, что его одолеть смогут.

Яркие, выпуклые иллюстрации к рассказу Николая Васильича, который услышал я много лет назад, проплывали в воображении, наполняя «двенашку» сиплым хохотом и матом балтийцев-смертников, заглушающим грохот канонады, и надрывным голосом гармони, разухабисто приправляющей «Яблочком» их демоническое предсмертное веселье. Они толпились у меня перед глазами, словно восставшие на мгновение из братской могилы недалеко от Ржева. Казалось, что если я не перестану думать о них, кто-нибудь из матросов попросит у меня огоньку и, глубоко затянувшись, спросит: «Что, страшно за Родину сдохнуть?»

Знобливые мурашки резво вскарабкались по мне, будто стая проворных муравьев. Лицо покрылось холодной испариной, и я передернул плечами. Взмахи могучих орлиных крыльев уже слышались над головой. ЛСД потихоньку начал действовать, неотвратно приближая к рывку вверх, который выхватит меня из вязких объятий обыденности.

- Так, надо переключиться! – вслух приказал я себе. – А не то всю ночь с мертвыми матросами проведу...

Стараясь отвлечься на какую-нибудь легковесную чепуху, я поджал ноги, обхватив колени руками и поежившись в уютном кожаном кресле. Знакомое маетное ощущение, похожее на начинающуюся простуду, стало постепенно нарастать. Цвета стали немного ярче, еле уловимо подсветив интерьер «двенашки». Сердце заколотилось быстрее, гулко стучась в грудину. Я прикрыл отяжелевшие веки. И тут же мысленным взором увидел себя, сидящего в кресле. Хирургической пижамы на мне не было, только штаны. А от горла до лобка тянулся аккуратный убористый секционный шов, точь-в-точь такой, какой

обычно делаю я, за что получил от коллег шутовское прозвище «белошвейк». Картина эта нисколько не пугала. Наоборот, я вдруг почувствовал, как откуда-то из глубины моего «я» поднимается волна задорного идиотского смеха. Губы растянулись в искренней улыбке, и я открыл глаза. Чувствуя, что орел уже на подлете, встал и протяжно потянулся, всем существом ощущая волны озноба, колышущиеся внутри. Неожиданно хохотнув, заметил, что окружающие предметы стали излучать свет, будто в их нутро вмонтированы лампочки.

– Ага, уже скоро, – пробубнил я, снова энергично зевнув. И решил пройтись, прислушиваясь к ощущениям.

Спустя несколько секунд я уже был в коротком широком коридоре, который упирался во входную дверь отделения. Не успел сделать и нескольких шагов по его пузатому чреву, как он разом преобразился. Мягко колыхнувшись, будто от легкого настойчивого толчка, помещение стало чуть заметно пульсировать в такт моему сердцебиению.

– О, как... – тихонько сказал я вместе с протяжным выдохом. Тут же бледно-голубые стены и серый пол коридора наполнились крошечными пузырьками, будто закипающая вода. В следующее мгновение они подернулись причудливым струящимся узором. Это было похоже на пшеничное поле,двигающее миллионами колосков в такт порывам предгрозового ветра. Лампа дневного освещения залила ожившие стены глубоким лазурным светом, в лучах которого были отчетливо различимы стремительно несущиеся фотоны. «Да, 600 микрограмм – это круто», – мелькнуло у меня в голове. Шаг за шагом я приближался к двери, осторожно погружая ноги в мягкий податливый пол и не замечая струйки пота, обильно заливающего лицо.

– Однако, глючит, – чужим голосом произнес я, остановившись перед служебным входом. Чтобы понять, в каком положении находятся, например, пальцы рук, мне нужно было взглянуть на них, ведь тела своего я уже почти совсем не чувствовал. Занавес был поднят, дав начало двенадцатичасового представления. Но долгожданного рывка все не было. Орел не спешил дарить полет землеройке, словно нарочно испытывая ее терпение.

– Птичка, где ты? – протянул я, состроив жалобную рожу.

Подойдя вплотную к железной двери, что была покрыта темно-синей краской, уставился в нее, словно в окно. В нем был виден просторный синий зал с величавыми колоннами, массивными хрустальными люстрами и узорчатым паркетом. В дальнем конце его возвышался балкон, вмещающий камерный оркестр, пискляво настраивающий инструменты. Внезапно фигура дирижера взмахнула руками и зазвучала музыка. Классика, что-то очень знакомое, летящее и легкое. Опустив взгляд вниз, я увидел пары, кружащиеся в танце. Ритмично вальсируя, они двигали паркет, узоры которого переливались в такт их движениям.

– Ладно, дамы и господа, веселитесь... не буду вас смущать, – сказал я, сделав шаг назад. Крашеная поверхность двери тут же подернулась струящимся вниз орнаментом, скрывшим за собой картину бала. Лишь отголоски музыки доносились до меня, напоминая о танцующих.

– Птичка-а-а-а! – позвал я орла и непроизвольно хихикнул. – Где ж тебя носит-то?

После мой взгляд упал на ключ, торчащий из замочной скважины служебного входа. Ключ, позволяющий мне входить в Царство мертвых и выходить оттуда живым. Издав протяжный прерывистый вздох, потянулся к нему. Коснувшись бесчувственными пальцами его прохладного металла, я каким-то шестым чувством успел ощутить позади себя молниеносное движение.

А потом был рывок.

Дурашливое недомогание, полное смешков, ужимок и примитивных визуальных эффектов, разом вытеснила психостимуляция грандиозного масштаба, заставившая меня замереть на месте. Собственное сознание раскручивалось внутри моего жалкого существа, будто могучий ураган, даря захватывающее чувство полета, которое ощущалось физически. События и явления, в сути которых я пытался разобраться, вплотную уткнувшись в них носом, быстро удалялись, оставаясь далеко внизу. Набирая высоту, я видел их тонкие причудливые взаимосвязи, охватывая взором всю картину происходящего. Я был похож на шахматиста, который пытался сыграть партию, упершись взглядом в черную лакированную поверхность единственной пешки, и, наконец, увидел всю доску разом.

Мой разум трещал по швам, силясь превозмочь пределы своей эластичности.

Долго это продолжаться не могло. Прошло какое-то время – и я вынырнул, наполненный до краев. Пошатнувшись, привалился к стене, коротко выматерился, беззвучно шевеля губами, и сполз вниз, с размаху усевшись на пол и медленно подтянув к себе ноги. В перегруженном сознании громко звучала мелодия из детского мультфильма, в котором садист заяц весело калечит колоритного простака волка. Двигаться не хотелось, да и само тело казалось чем-то таким незначительным, что попросту не заслуживало внимания. Стремительный набор высоты прекратился. Крепко держа меня когтями, орел тихо планировал, оперевшись на воздушный поток неподвижными крыльями.

Время шло, и психика сбрасывала скорость. Мелодия из мультлика стихла, приглушенно звуча откуда-то сзади. Через несколько минут, которые я провел, молча сидя на полу, в сознании появилось место словам, которые стали понемногу просачиваться в него. Вскоре появилась потребность поделиться случившимся вслух, хотя бы и с самим собой. Осторожно кашлянув, словно пытаюсь привлечь чье-то внимание, я сказал:

– Да-а-а-а... Орел нынче в ударе. Так быстро и так высоко мы с ним еще ни разу не забирались.

Скосив глаза на синюю поверхность двери, которая была от меня в нескольких сантиметрах, я увидел в ней несколько пузатых бородатых коротышек, играющих в баскетбол. Резво чеканя двумя руками излишне большой для них мяч, они натужно пытались загнать его в кольцо, неуклюже подпрыгивая на коротких кривых ногах. Услышав мою реплику, они бросили игру и дружно недоуменно уставились на меня.

– Какой орел? – писклявым фальцетом спросил один из них, деловито почесывая окладистую бороду.

– Да ну вас на хрен, – ответил я, бессильно махнув рукой и отвернувшись.

– Сам пошел, – слышалось из двери.

– Вот хамы, – с трудом произнес я. И подумал: «Все случилось, когда я дотронулся до ключа. Как будто он катализатор какой-то». Глянув на ключ, не решился взяться за него, чтобы проверить свое предположение. – Может, потом... попозже, – пробормотал шепотом.

– Чего потом? – услышал я знакомый фальцет баскетболиста, но вступить в разговор не стал.

Не ощущая свою физическую оболочку, с силой ощупал себя руками. «Надо бы встать. Пойду-ка, лягу на диван», – решил я, несмело поднимаясь на ноги. Пол коридора закрывал слой воды, глубиной в пару сантиметров. Она стекала с правой стены, забираясь на левую. Не обращая внимания на галлюцинации, я медленно пошел к «двенашке», беззвучно наступая в теплую воду.

Зайдя в комнату отдыха, мельком заглянул в зеркало, проходя мимо него по дороге к дивану. «Рожка белая, потная, губы серые, глаза в пол-лица. Все нормально», – констатировал я увиденное. И плюхнулся на диван.

Немного придя в себя, вдруг представил, что будет, если прямо сейчас в отделение заявится бригада трупоперевозки с человеческими останками. От этой мысли стало не по себе. И дело было даже не в моем внешнем виде. Посторонние люди (а в этот момент для меня все люди на свете были посторонними), вторгшиеся в мое пространство, принесут с собой сто тонн болезненного дискомфорта. Как это повлияет на мое состояние, мне было не известно.

– Надо бы поставить записку на дверь, – внятно произнес я. Поднявшись с дивана, принялся искать бумагу и ручку.

Поясню... К наружной стороне двери служебного входа была прикручена небольшая пластиковая рамка, куда санитары совали записку, если уходили за свежим покойником в одно из отделений клиники. «Ушел в главный корпус. Буду через 20 минут. Просьба подождать» – обычно гласила она. Прочтя послание, бригада перевозки покорно ждала возвращения дежурного по Царству мертвых. Как-то раз, желая пошутить, я поставил на дверь бумажку, на которой было написано «Санитар спит. Просьба подождать». Дело было под утро, а потому я был уверен, что первым записку увидит кто-нибудь из дневных санитаров. Но... Как назло, в то утро первым на работу пришел заведующий Ситкин. Ознакомившись с текстом на двери, он нажал на звонок. Когда я, заспанный и опухший, впустил его, растерянно сказав «ой, здрасьте», то сразу понял, что шутку шеф не оценил.



– Сдается мне, коллега, что вы слишком высоко цените свой покой, – холодно процедил он, проходя в отделение. – А раз так, чтоб вас никто не тревожил, рекомендую заняться надомной работой по разнарядке Всероссийского общества слепых – розетки собирать, конверты склеивать. Вы зрячий, будете три нормы делать, – добавил заведующий, удаляясь по коридору. И, обернувшись на повороте, резюмировал: – На первый раз прощаю. А записку приказываю сожрать, чтоб впредь неповадно было.

– Слушаюсь, Виктор Михалыч, – облегченно ответил я, торопливо засовывая бумажку в рот.

«И что мне на этот раз написать? – думал я, держа в руках листок и ручку и вспоминая тот случай. – Санитара унес орел. Вернет к утру. Просьба подождать», – всплыло в мозгу, от чего я залился пародийным крякающим смехом.

Кое-как уняв веселье, по-детски высунув язык и пыхтя, начертал старательными печатными буквами стандартное: «Ушел в отделение. Буду через 20 минут. Просьба подождать». Подумав, мелко приписал внизу «санитар».

«Если будут звонить, а звонить они будут, даже если записку прочтут... Двадцать минут мне хватит, чтобы прийти в себя. Соберусь, сделаю морду кирпичом, схвачу документы и пойду журнал оформлять. Глядишь, и обойдется», – решил я, сильно сомневаясь в том, что эти двадцать минут что-нибудь изменят.

Вся эта суэта вдруг показалась такой мелочной и унижительной, что стало противно. «Вот в таком мельтешении вся жизнь и пройдет, – размышлял я, брезгливо морщась. – Интересно, а способна ли землеройка отрастить крылья?»

И в тот самый момент, когда передо мною возникла землеройка, горделиво парящая с ошарашенным орлом в лапах, пронзительная судорога впилась в тело, отдаваясь болезненным электрическим разрядом в каждой клетке. А следом за ней – еще одна, и еще, и еще. Вдруг холодный пот окатил с ног до головы, укутав в мерзкую липкую пленку. И все потому, что кто-то уверенно жал на кнопку звонка служебного входа.

Звонок стих. С трудом повернувшись по направлению к служебному входу, я медленно пошел к нему, комкая в руках записку и продолжая с силой чеканить слова.

– Доза большая, от этого паника на ровном месте! Это перевозка. Скажешь, что весь день с похмелья. Они поверят. Все!!! Успокойся!!!

Добравшись до двери на непослушных чужих ногах, дрожащей рукой взялся за ключ, торчавший из замка. Его сталь показалась мне пронзительно ледяной, и холод этот струился по пальцам звенящим пульсирующим потоком, стремясь забраться в самую сердцевину моего сознания. Секунду-другую помедлив, глубоко вдохнул, и рывком натянув на лицо тугую маску усталого равнодушия, стал открывать дверь, отделявшую мой сказочный уютный мирок от остального человечества. Щелчок, еще один, и вот я уже толкаю ее вперед. Необъяснимо медленно, с тоненьким сочувственным скрипом, она отделяется от косяка, торжественно отверзая проход в Царство мертвых.

Стоя перед дверным проемом, я смотрел на крыльцо отделения, пытаюсь унять страх, переплетенный с щемящим душу восторгом. Наверное, что-то подобное чувствовал космонавт Леонов, впервые выходя за пределы корабля. Любой посторонний наблюдатель, взглянувший на эту банальную ситуацию со стороны, увидел бы лишь двух крепких мужиков в синих рабочих комбинезонах. Но если бы он мог попасть в мою шкуру, то никогда не забыл бы этого величественного зрелища.

Передо мною предстали две огромные, плавно вибрирующие лазурные фигуры, сильно напоминая земных обитателей. Замысловатые узоры, наполненные неведанным мне сакральным смыслом, стремительно стекали с них вниз, обрушиваясь им под ноги и тут же превращаясь в серый вязкий туман, стелящийся по крыльцу отделения. Обрамленные мягким пастельным сиянием уходящего вечернего солнца, эти двое лучились потусторонним свечением, заливая темный коридор патанатомии глубоким теплом. Лица их переливались, непрерывно меняясь... От сурового удивления к сочувствию, веселой беспечности, внимательному любопытству, к скрытой иронии и обратно. Мало того, от них исходило могучее, хоть и еле слышное, пение, напоминая звук летавров и таящее в себе почти неуловимую мелодию, гармонично сплетающуюся с сиянием и бегущими узорами. И резкий, дурманящий аромат свежей июньской клубники, наступающий на меня плотной тяжелой волной, был частью той музыки. А когда он откатывался назад, то перерождался в

затухающий запах подгоревшего омлета, чтобы спустя мгновение вновь кинуть клубничную волну...

Это масштабное магическое явление, втиснутое в дверной проем служебного входа, обрушилось на санитаря Антонова за какую-то долю секунды, которая будто застыла на месте, дав мне время вкусить это зрелище. Чуть приоткрыв рот, я уперся в него застывшими глазами, которыми мог разом видеть, слышать, обонять...

Но вдруг эта доля секунды стала быстро таять, словно спохватившись, что задержалась со мною дольше обычного. Второпях скомкав потрясающее зрелище, она уступила место другому времени, что терпеливо дожидалось своей очереди. И тогда магия момента рухнула, разом сменив мистических визитеров на Гену и Юрку – фельдшера и водителя-санитара бригады городской подстанции трупоперевозки. С ними была и Клавдия Васильевна Иванова. Замотанная в простыни, она лежала в кузове старенького облезлого «рафика».

– Здорово, трудяга, – делая шаг вперед, устало бросил дородный круглолицый Генка, алея непроходящим детским румянцем. Немногословный мрачный Юрка, получивший среди санитаров кличку «Немой», как обычно, лишь только кивнул мне.

– Здравсьте, – почему-то смущенно пробормотал я, словно подросток, застуканный с сигаретой в зубах.

– Держи документики, – сказал фельдшер, сунув мне в руку медицинскую карту покойницы и сопроводительный талон-наряд. – На вскрытие, – добавил он. «Секция раз», – прозвучал чей-то посторонний голос у меня в голове.

Кивнув, я с облегчением пошел за журналом регистрации трупов, унося подальше от своих непрошенных гостей потную бледную рожу с огромными зрачками. «Вроде не заметил», – подумал я, стараясь твердо ступить по колыхающемуся коридору. «Только бы сейчас орел не пожаловал».

«Странно, что он внимания не обратил», – размышлял я, беззвучно шевеля губами и аккуратно, по буквам записывая фамилию Клавдии Васильевны в графу журнала. «А ничего странного», – отвечал я самому себе. «Когда человек в таком состоянии, когда что-то такое значительное происходит, он как бы не здесь, а

где-то далеко. Вот его остальные и не замечают. Оболочку физическую видят, а самое главное – нет. Ниндзя японские могли так на людей влиять, что на них внимания не обращали, словно их и нет вовсе», – галопировало мое сознание, захлебываясь догадками и предположениями, которые моментально превращались в волнительные открытия. «И если я сейчас под потолок взмою и полечу у Генки на глазах, он меня тоже не заметит. «Наверное, Бог специально так устроил, чтобы в такие важные моменты никто не мешал. А ниндзя это дело, значит, раскусили и в своих интересах применяли. Хитрые япошки», – с трудом поспеваю я за мыслями, выводя фамилию. Закончив заполнять журнал, присмотрелся к графе в журнале и вдруг обнаружил, что вместо «Иванова» написал «Ивановшта». А вместо обозначения «вскр» (означавшее, что труп поступил к нам для вскрытия), вышло «всшткр». «Всшткрытие – значит «вскрытие, одна штука», – с трудом сдерживая внезапно нахлынувший приступ нездорового веселья. «Да и хрен с ним, с этим журналом. Потом поправлю», – решил я. И уже хотел закрыть журнал, но почему-то вновь поднес его к глазам, всматриваясь в надпись. На этот раз ошибки не было.

Осторожно положив журнал на место, замер, прислушиваясь. Соприкоснувшись с каталкой, тело Клавдии Васильевны издало глухой стук. Он означал, что парни закончили свою нехитрую работу, и вот-вот уедут. Если только не задержатся, чтобы позвонить... или сходить в туалет. Но мне повезло. «Все, Тёмыч, мы погнажи», – вскоре услышал я. Надо было что-то ответить, иначе они бы могли начать искать меня в отделении, чего мне совершенно не хотелось. Казалось бы, чего проще крикнуть «пока». Или «счастливо», «до скорого», «увидимся». «Ага, давайте» тоже бы вполне сгодилось. Но тут-то я и попался. Секунды шли, а я никак не мог выбрать какой-то один из этих вариантов, вертя их в голове, словно в поисках единственно верного ответа. Поняв, что тянуть больше нельзя, сипло выкрикнул неожиданно литературное «всего доброго!». И сам себе удивился.

– Ты бы еще «до новых встреч» добавил! – проскрипел я сквозь залиvistый смех, когда хлопнула входная дверь. Хорошенько проржавшись, я пошел закрывать дверь, смакуя сладкое облегчение. – Фху-у-у-у, пронесло, слава богу, – прошептал я у поворота к служебному входу. А когда повернул, озадаченно остановился, изумленно глядя на каталку.

Такого от Клавдии Васильевны я не ожидал. Она была не просто мертвой пожилой дамой. А очень большой мертвой пожилой дамой.

Я тут же вспомнил, как совсем недавно, стоя в вагоне метро позади огромного грузного дядьки, подумал: «И как же такого двигать-то, если ты ночью один в отделении?» Разглядывать под таким углом живого человека было конечно же форменным свинством. Это произошло скорее машинально – во мне сработал санитар. Тогда я глядел на неповторимое творение Божье, как грузчик, стоящий перед «Моной Лизой» и прикидывающий, пройдет ли она в дверь стандартной «хрущевки». Стоя перед телом Клавдии Васильевны, я вдруг понял, как это было оскорбительно. По отношению к Богу, к дядьке, к таинству смерти и к себе самому. Внезапно едкое чувство вины стало подниматься откуда-то снизу, пока не затопило меня целиком, отчего защипало глаза. Утерев едва выступившие слезы, я тихонько пробормотал:

– Это тебе, Антонов, наказание за хамство, – и стыдливо опустил глаза, словно и Клавдия Васильевна знала об этом моем проступке.

Клятвенно пообещав себе и Богу впредь никогда не смотреть на живых, как на мертвых, взялся за обрезиненные ручки каталки, чтобы отвезти Иванову в холодильник. Прижатая немалым весом, старенькая мертвецкая повозка не слушалась меня, вихляя разболтанными от непосильных трудов колесами и норовясь уйти влево. Кое-как справившись с упряницей, я вкатил Иванову в зал холодильника.

– Вы, Клавдия Васильевна, не переживайте. Я вас не уроню, справлюсь, – вежливо произнес я, стремясь искупить вину перед тем, кого я мерил взглядом в метро. «Тогда смотрел на живого, как на мертвого. Теперь буду смотреть на мертвую, как на живую», – подумал я. И медленно перекрестившись, вслух добавил: – Так что ты, Господи, уж прости меня, идиота. И помоги нам с Клавдией Васильевной, пожалуйста. Если б еще кто из живых рядом был, я бы не стал просить. Но ведь мы с ней здесь только вдвоем...

Излишне аккуратно развязав узлы выцветшего покрывала, крепко завязанные у головы и ног покойницы, откинул материю. Оглядев тело, сосредоточенно представил, как тремя мощными и плавными движениями, отработанными за три года ритуальных трудов, перетяну его на подъемник. Но...

Как только эта картина возникла в моем мозгу, я тут же почувствовал обжигающий холод в солнечном сплетении. Мгновение спустя, невесть откуда взявшийся орел вцепился мне в плечи, и мы взмыли ввысь.

Ввысь над Клавдией Васильевной Ивановой. Глядя на нее с высоты этого полета, я видел всю ее земную жизнь, вытянутую в прямую линию лет, от самого рождения и до нашей встречи. Вот она лежит на пеленальном столе, на ветхих раскинутых пеленках. Рядом с ней пожилой седой врач, в маленьких круглых очках и белом хирургическом халате, подносит к ней фениндоскоп. А она, наморщив щекастое кукольное личико, протягивает к нему ручку с крошечными растопыренными пальцами. А вот она уже дома, в обшарпанном бараке, освещенном тусклой лампочкой. Мать с отцом, укрывшись за рыжей занавеской, натянутой между стеной и платяным шкафом, счастливым шепотом спорят о том, какое имя ей дать. И в следующий миг – она уже смышленная девчушка, лет десяти от роду, в вязаном свитерочке и в длинной ситцевой юбке до пят, рыдает вместе с матерью над отцовской похоронкой. Ее задорный смех на школьных переменах, первая любовь, бедная, но шумная и счастливая свадьба. Вагончик в казахской степи, где они вместе с мужем Сережкой топят неказистую буржуйку. Первые мучительные роды, во время которых она чуть не погибла, даря миру сына, Павла Сергеевича. И несмотря на увещевания врачей, отважилась на второго, родив дочку Настю. Первые месяцы вдовства, тяжелые и беспросветные. Спустя многие годы – второй брак, о котором она так горько жалела остаток жизни, все реже и реже роняя слезы в компании своей лучшей подруги Иринки. Свадьбы детей, подаривших ей новый смысл жизни – очаровательных внуков, сделавших ее «бабой Клавой». Пенсия и безрадостный долгожданный покой, отписанный ей государством. Старость, настырные болячки, беспощадно сжимающие ее. Тяжелое больничное забытие, гибель советской империи, в которую она никак не могла поверить. И вот... Угасание и последнее летнее утро. То самое, когда я спешил на работу, опаздывая и умоляя Плохиша быть на работе вовремя. Кольнуло сердце, да так сильно, что Клавдия Васильевна вскрикнула, нащупывая непослушными пальцами простенький латунный нательный крестик, тайком подаренный матушкой. Ее последний, сбивчивый молитвенный шепот. Последний покаянный взгляд на иконку Божьей Матери, висящей под потолком, в углу кухни. Все, я больше не вижу ее... И себя, стоящего перед ней в зале холодильника, не вижу тоже. Лишь чувствую, как орел, планируя вниз, разжимает когти, прицельно роняя меня обратно, в Царство мертвых на Финишном проезде.

С трудом стряхнув с себя остатки диковинного наваждения, я глядел на Клавю Иванову другими глазами. И с каждой секундой все больше и больше узнавал в ней то крошечного младенца, то школьницу, то молодую мать. Оцепеневший, я боялся верить, что заглянул в прошлое Клавдии Васильевны. И чем сильнее боялся, тем сильнее хотел поверить. Сама мысль об этом была так невероятно притягательна, что через каких-то несколько минут я уже наотрез отказывался

принять все случившееся со мной за галлюцинации.

Наконец оторвав свой взгляд от лица покойницы, я собрался с духом, вновь попросил помощи у высших сил, и принялся за дело. То ли Бог услышал меня, то ли мне просто повезло, но через пару минут Иванова уже заняла свое место в гудящей холодной металлической коробке. Как только я написал ее фамилию на двери холодильника, так услышал телефонный звонок, далекий, но настойчивый. Звонили из госпиталя. Смачно выругавшись, нарочито медленно поплелся к телефону, умоляя судьбу, чтобы на другом конце был кто-нибудь из службы вентиляции со своими дурацкими вопросами про поведение их капризного оборудования. На этот раз я не стал просить Бога о помощи, чтобы не злоупотреблять его расположением. А сняв трубку, горько пожалел о своей скромности.

– Алло, морг? – выпалил взволнованный девичий голосок.

– Да, морг, – с тоской ответил я. Поездка за трупом на другой конец клиники казалась мне почти невыполнимой задачей.

– Это вам из второй терапии звонят. Дедушка у нас умер, – добавила девушка дрогнувшим голосом. – Мы вас очень ждем, приезжайте только поскорее. А то мы его соседей по палате в столовой держим, свободных мест-то у нас в отделении нет. А дядечки все больные, им переживать нельзя. Вы уж, молодой человек, поторопитесь, пожалуйста. Ладно?

– Я вас понял. Ждите, – постарался сказать я как можно четче и сдержаннее. Получилось равнодушно и грубовато, как и полагалось в таких случаях черствым и циничным санитарам патанатомии.

Несмотря на срочность, о которой говорила медсестра терапии, я все же посидел пару минут у телефона. Был совершенно неподвижен, стараясь собраться с силами. Поняв, что ни черта у меня не выходит, досчитал до десяти и решительно встал, отчего тут же покрылся холодным потом. Пытаясь не думать о том, что будет, если орел спикирует на меня, когда я буду в терапии, решительно двинулся по отделению в кладовку, что была напротив зоны выдачи. Взяв журнал госпитальных поступлений «кроватофалк» (так мы с парнями прозвали специальную каталку в форме обычной больничной кровати на колесах, под откидным верхом которой находился стальной поддон для трупа), я

выкатил его к лифту, закрыв за собой отделение. Сунув ключ в карман, вызвал лифт. Закатив в него псевдокровать, изобретенную для того, чтобы не шокировать пациентов видом мертвого соседа по отделению, нажал кнопку с цифрой ноль. Комфортная финская кабина мелодично тренькнула, дав сигнал к отправлению, и стала спускаться в подвал. Там меня ждал широкий ветвистый бетонный коридор, главная магистраль которого вела в центральный корпус клиники.

Но... в тот вечер он не был для меня обычным коридором. А я для него – обычным санитаром.

Выкатив из лифта «кровофалк», я пересек порог огромных, тяжелых распахнутых дверей, на одной из которых висела табличка с надписью. «Патологоанатомическое отделение» гласили жирные черные буквы, обозначая границу Царства мертвых. «А ведь должно быть написано «оставь надежды, всяк сюда входящий». Отделения – это для больных. Для тех, кто выздороветь надеется. А уж если в эти двери въехал – надеяться не на что», – думал я, круто поворачивая направо, к бетонному жерлу, ведущему в главный корпус. Чуть двинув каталку вперед, я остановился, зачарованно уставившись на то, что для остальных сотрудников клиники было лишь коридором.

Люминесцентные лампы освещали лежавший передо мною путь. Некоторые из них мигали, и каждая – в своем причудливом ритме. Одна монотонно вспыхивала, словно береговой маяк, другие отбивали сложные джазовые синкопы. Вместе они рождали мерцающее зарево, похожее на всполохи грозового неба. Потрескивали и гудели, словно мириады цикад, складывая сложнейшую симфонию, объединяющую в себе множество разных мелодий, сливающихся и перетекающих из одной в другую. Тусклые бежевые стены больничного подвала струились вверх, колышась, словно туман над остывающей водой. А темно-серый каменный пол плавно двигался, подернутый мелкой рябью, и был неотличим от воды. Поглощенный этим зрелищем, я вдруг пронзительно осознал, что коридора, по которому я мог дойти до покойника, для меня больше нет.

Передо мною лежал Стикс, река забвения. Ее воды приведут меня, Харона, к тому, кто должен переступить порог Царства мертвых, на котором по ошибке написано «патологоанатомическое отделение». И я доставлю его по назначению, усадив в лодку, которая лишь слегка похожа на больничную кровать.



Прерывисто выдохнув, я толкнул «кровофалк» вперед. Рассекая бегущую навстречу рябь реки, двинулся в мир живых. Там меня уже ждал тот, кто был нужен мне и кому был нужен я. Легко скользя по глубокой темной воде, лодка, с каждой секундой все меньше похожая на кровать, стремительно приближала нашу встречу.

«Харон не опаздывает. Всегда появляется точно в назначенный час. Санитар – тот да, может и задержаться», – думал я, жадно втягивая влажный аромат Стикса, сырой и пряный, какой бывает у речных цветов. «К тому же живые Харона и увидеть-то не могут. Он им санитаром кажется. А Стикс – коридором. «Кровофалк» у них вместо лодки. А вот мертвец, который во второй терапии, все увидит. И никакие снадобья ему для этого не нужны. Помер – и прозрел».

Вскоре воды госпитального Стикса принесли меня и мою лодку к просторному лифтовому холлу центрального корпуса. Нажав кнопку вызова, я задумался, глядя на узорчатые серые стены клиники, то вспыхивающие слабым свечением, то мягко тускнеющие. «Почему я здесь? Что привело меня сюда и зачем? Случайное течение жизни? Или я родился, чтобы стать санитаром? Пожалуй, санитаром можно стать и по стечению обстоятельств. А вот Хароном – навряд ли. Санитар – он кто? Технический работник, в таблице о рангах где-то рядом с дворником. Харон – проводник, ведущий человека в последний путь. Романтично, черт побери! Возвышенно... – чуть усмехнулся я над собой. – На санитаров морга нигде не учат, им может стать каждый, кто закончит восьмилетку и сдюжит такую работенку. Да и Харонам дипломы не выдают. Но каждый ли может им стать?»

Загнав лодку, вновь ставшую «кровофалком», в кабину лифта, я отправился на десятый этаж. «А ведь еще тогда, в детстве... – вспомнил я матушкины рассказы. – Совпадение?»

Лифт поднимался, мягкими щелчками пересчитывая этажи. Мои детские годы поплыли передо мною, очерченные рассказами родителей и раскрашенные моими мутными цветастыми воспоминаниями...

...Мама уверяет, что я был чудным ребенком. Для мам их ребенки всегда чудные. Откинув родительскую необъективность, можно сказать, что я был довольно странным карапузом. Мог днями напролет играть в одиночестве, не капризничая и не требуя внимания взрослых. В квартире меня почти не было слышно. Разве что затарахтит игрушечный грузовик, или твякнет плюшевая собака. Таким я

был с самого младенчества. Переехавшись из роддома в свою первую квартиру на улицу Карла Либкнехта, совершенно не плакал, к радости родителей и соседей. Изгадив пеленку, я просыпался и, радостно улыбаясь, тихо ждал положенной мне заботы. Почти молча ел, спал, гадил, улыбался. Перепуганная матушка даже обращалась к педиатрам, подозревая в моем спокойствии что-то неладное. Но они успокоили ее, заверив, что им с отцом несказанно повезло.

Годам к двум с половиной, когда я пустил первые ростки примитивного интеллекта, во мне проснулась тяга к познанию устройства. Неважно, чего... Подаренная машинка тут же с усердием разбиралась на составные части. И эта участь постигала любую вещь, которая была мне доступна и недостаточна крепка. Вскоре родители поняли, что игрушки их сына должны быть монолитными и прочными, как танк. Жертвой моей любознательности становились авторучки, пудреницы, наборы пуговиц, губная помада и даже радиоприемник. Когда меня спрашивали, зачем я уничтожил очередную вещь, как мог объяснял, что исключительно в исследовательских целях – хотел узнать, что внутри.

В три с половиной года я тяжело заболел – воспаление легких. И так случилось, что это событие позволило моей страсти к познанию выйти на новую орбиту...

Приехав со мной в детскую городскую больницу, куда меня определил участковый педиатр, матушка пришла в ужас. Сквозняки, надрывный ребенкин плач, нехватка медикаментов, равнодушные врачи... Схватив меня в охапку, она бросилась к своему знакомому, выдающемуся хирургу Николаю Герасимовичу Шабаеву, о котором писала статью в центральной областной партийной газете. Шабаев заведовал отделением кардиохирургии, был другом главного врача. Сжалившись над родительницей, руководство больницы определило меня в палату к нескольким заботливым бабушкам, сделав меня сыном полка кардиохирургического отделения.

Лишь только я оклемался, как тут же с энтузиазмом принялся изучать новый для меня больничный мир. Ходил по коридорам медленной шаркающей походкой, держась за сердце, как делали это многие пациенты Николая Герасимовича. Изучал конструкцию капельниц, каким-то чудом не одну из них не испортил. И даже влюбился в молоденькую медсестру Галю, которая нянчилась со мной больше остальных. Чувства мои были серьезны, а потому я пообещал ей жениться, дарил кусочки принесенных мамой домашних котлет и утянутые из столовой салфетки.

Но больше всего меня манил и завораживал оперблок. Его створчатые белые двери находились в самом конце отделения. Я подолгу стоял невдалеке от операционных, делая вид, что люблюсь хилой пальмой в деревянной кадке. Когда мимо меня проезжали каталки с больными, скрываясь в дверях оперблока, я со священным любопытством смотрел им вслед. Ведь в три с половиной года я уже знал, что тетю или дядю, накрытых простынкой, будут резать. А значит, будет видно, что у них внутри. С тех пор, как я начал нести свою вахту рядом с пальмой, начинка игрушечных машинок и капельниц больше не интересовала меня, ведь передо мной открылись новые горизонты. Теперь меня интересовала только начинка человека. На меньшее я был не согласен.

В моем ежедневном больничном существовании появился высший смысл – взглянуть в операционную рану. Хоть краешком глаза увидеть людские колесики и шестеренки! Если бы я был немного постарше, то сразу бы понял, что цель моя недостижима. Но в три с половиной я как-то не додумался до этого. И принялся двигаться к намеченной цели.

Первым моим желанием было хорошенько разогнаться и с разбегу ворваться в оперблок. Но как следует поразмыслив над этим планом, я отверг его. Во-первых, я не знал, что именно находится за белыми дверями и где именно режут людей. Во-вторых, у меня не было маски. Моя возлюбленная Галя как-то сказала мне, что без маски в операционную не пускают. Кроме того, я понимал, что если в результате моего отчаянного броска меня вышвырнут прочь из больницы, разрезанных людей мне не видать как своих ушей.

Силовое решение вопроса было бесперспективным. Ничего другого не оставалось, как сделать ставку на долгосрочную стратегию и дипломатию. К тому же все козыри были у меня на руках. Самый главный доктор, который сам... это ж даже трудно себе представить!.. сам режет людей, был маминым другом. Да и медперсонал отделения любил меня. Даже из других отделений приходили посмотреть на то, как я шаркаю и держусь за сердце, печально прерывисто вздыхая. А медсестра Галя и вовсе вскоре должна была стать моей женой, и вполне могла бы помочь дотянуться до человеческих шестеренок. Поняв, что у меня вполне приличные шансы, я вспыхнул надеждой.

И стал прощупывать обстановку. В те моменты, когда медсестры тискали меня и водили за руку по отделению, я издали заводил разговоры на медицинскую тематику, щеголяя такими словами, как «скальпель», «наркоз», «антибиотики» и

«оперблок». Девчонки, конечно, умилялись, сюсюкались, гладили по башке. Но стоило мне лишь упомянуть о моей мечте, стоило только произнести «посмотреть на операцию», как они снисходительно улыбались, не принимая мои слова всерьез. И только невеста Галя терпеливо объяснила мне, что сначала я «должен вырасти, потом стать врачом, и только тогда...» я смогу посмотреть на разрезанного человека. После слов «должен вырасти» я уже не слушал ее.

Спустя пару дней я с ужасом обнаружил, что почти все мои козыри ни черта не стоят. И даже дружба мамули с Самим Шабаевым не спасала положение. В операционную она не собиралась, и уж меня бы точно не пустила. В свои планы я ее не посвящал, опасаясь, что материнская забота окончательно загубит проект.

Вскоре я окончательно понял, что у меня остался лишь единственный шанс. Нужно было вербовать Шабаева. Этот крупный, грубоватый дядька, с размашистым шагом и отрывистыми фразами, иногда говорил мне «привет, херувим», проходя мимо меня по отделению. А иногда и вовсе не замечал. Нужно было срочно менять ситуацию. К тому же мама сказала, что лежать в больнице мне осталось недолго. Видно, хотела меня порадовать. Услышав это, я серьезно заволновался, боясь что не успею завладеть своей мечтой, надежно скрытой от меня за дверями оперблока. Было решено срочно брать Шабаева в разработку.

Задача была непростая, но выполнимая. Я знал, когда он приходит в отделение и когда уходит домой. Это была первая точка контакта. Знал, что он регулярно бодро заходит в операционную и устало выходит из нее. Ежедневный утренний обход в расчет я не принимал. Вокруг моего объекта было много народа, все они были какие-то хмурые, и шаркать, держась за сердце, перед ними было бесполезно. Но была у меня и еще одна информация, на которую я возлагал главные свои надежды. Я знал, где у Николая Герасимовича кабинет. Проторчав напротив двери Шабаева целых два дня, я увидел, как он подолгу сидит на диване совершенно один и молчит. И даже без газеты, от которой было весьма непросто оторвать многих взрослых.

Выработав нехитрую тактику, я принялся воплощать ее в жизнь. И страстно верил в ее успех. (Вот только время беспокоило меня, а потому я стал симулировать, старательно кашляя. Услышав от Гали «рановато тебя выписывать», я немного успокоился, убавив громкость и частоту кашля.) Утром я первым выскакивал из постели, наскоро надевал свою пижамку и занимал позицию у входа в отделение. Когда в дверях появлялся Шабаев, я говорил

«доброе утро, Николай Герасимович». И чтобы он не мог наскоро ответить, добавлял «вы мою маму не видели?». «Маму?» – удивлялся зав. отделением. «А разве она не вечером к тебе приходит?» – удивленно спрашивал он. Я обязательно отвечал что-нибудь трогательное, вроде «я просто по ней соскучился». Так между нами происходил диалог, который, как известно, и есть основа продуктивного общения.

Наскоро позавтракав, я спешил к дверям оперблока, подолгу ошиваясь у пальмы. Когда Шабаев шел оперировать, я решительно подходил к нему с самым ангельским видом, на который был способен, и спрашивал: «Николай Герасимович, а вы куда?» «На операцию», – по инерции отвечал врач. «А-а-а», – понимающе кивал я.

Пока Герасимыч резал, запросто спасая жизни сердечников, я слонялся по коридору в компании с плюшевым тигром, непринужденно флиртовал с Галей, при этом не выпуская из виду оперблок. Как только двери его открывались, я как бы невзначай направлялся к кабинету Шабаева. Здесь я говорил ему что-нибудь вроде «уже все?» или просто «здрасьте». Он недоуменно смотрел на меня и говорил что-нибудь нейтральное, типа «ага». Наш перманентный диалог продолжался и вечером, когда хирург уходил домой. Так, без лишней спешки, я потихоньку внедрялся в руководство городской клинической больницы. И понемногу покашливал, особенно когда рядом появлялась Галя.

На третий день удача, впечатленная настырностью маленького человека, улыбнулась мне. Проходя мимо кабинета заведующего отделением, я увидел открытую настежь дверь, в проеме которой виднелся Шабаев, бессильно сидящий на диване. Ни на секунду не задумываясь, зашел в кабинет. Просмотровая лампа для рентгеновских снимков заливало его мягким лимонным сиянием, отчего Николай Герасимович казался еще более вымотанным. С искренним сочувствием посмотрев на него, спросил:

– Вы устали?

– Как собака, – буркнул он в ответ. – А ты чего пришел? Болит что-нибудь?

– Я к вам, – честно признался я.

– В гости, значит? – риторически уточнил Шабает. – Ну, садись тогда. Будем вместе отдыхать, – кивнул он. Видно, что слова давались ему с трудом. Все свои силы, которые он принес в отделение утром, были оставлены в оперблоке.

Не растерявшись, я сказал «спасибо» и проворно залез на диван, усевшись рядом с кардиологом. Тот приподнял руку, чтобы мне было удобнее, а опустив ее, слегка приобнял меня. Я затаил дыхание. Так близко к тому, кто каждый день видит, что внутри у человека, я не был еще никогда.

– Конфету хочешь? – понуро спросил Герасимыч.

– Нет, спасибо, не буду, – почему-то отказался я.

– А чего так? – автоматически спросил тот.

– Чтобы зубы не болели.

– Умно, – кивнул врач, вздохнув. И вдруг спросил: – Как там твой кашель?

– Хорошо, – уклончиво ответил я.

– А чего ты только в палате кашляешь? – почти равнодушно поинтересовался хирург. – А когда у оперблока торчишь – забываешь, да?

Пристыженный, я не знал что сказать, заливаясь нервным румянцем.

– Ты не забывай. У пальмы тоже кашляй, – на одной ноте сказал он. Ни на выговор, ни даже на нотку осуждения сил у него не было.

Мы помолчали, сидя в обнимку на диване.

– А кто самый главный на свете врач? – вдруг спросил он спустя пару минут, словно очнувшись.

– Хирург, – сказал я не задумываясь.

- А не зубник?

- Хирург, - настойчиво повторил я.

- Ты мой ангел, - все так же равнодушно пробубнил Герасимыч. - А почему хирург?

- Он видит, что у людей внутри. И знает лучше всех про болезни.

- Не, про болезни лучше знает патологоанатом. Эти - лучшие диагносты. Да толку-то... - к моему немалому удивлению, возразил Шабаев.

- Патолатам? Это кто? - оживился я, задрал башку и глядя на доктора из-под его руки.

- Па-то-лого-анатом, - медленно произнес Николай Герасимович. - Это такой врач. Когда человек умирает, он мертвеца берет, разрезает и смотрит, что там с ним такое произошло. И так постоянно, каждый день. Почти, как у нас. Только у нас живые. А поэтому нервы...

- Понятно, - кивнул я, впечатленный его ответом, и поближе прижался к нему.

- Может, ты яблоко хочешь?

- Нет, большое спасибо.

- А чего ж ты хочешь, чудо мое? - спросил он.

Собираясь сказать «ничего», я вдруг понял, что сама судьба протягивает мне руку помощи. Сглотнув от неожиданности, я, как бы между прочим, сказал:

- На операцию посмотреть хочу.

- Да? - рассеянно промямлил Шабаев. - Ну, как-нибудь... возьму.

- Когда? - восторженно пискнул я, дернувшись всем телом.

– Посмотрим, – ответил Герасимыч сквозь протяжный зевок. – Беги, давай, к себе в палату. Тебе уже кашлять пора, – усмехнулся он, легонько шлепнув меня по заднице рукой, спасшей сегодня чью-то жизнь.

– Спасибо! – почти выкрикнул я и выскочил из кабинета словно ошпаренный. Чувство стремительно добытой победы, знакомое лишь великим триумфаторам, пьянило меня. Сообразив, что одного «спасибо» за все мое нежданное счастье Шабаяеву будет мало, я опрометью бросился назад. Высунув голову из-за двери, выпалил «спасибо, Николай Герасимович». И добавив еще одну благодарность вздрогнувшему от неожиданности Шабаяеву, стремглав бросился в палату.

В тот вечер я уснул раньше обычного, что нередко бывает с детьми от переизбытка чувств. Утром, второпях запихнув в себя завтрак, вприпрыжку кинулся к дверям оперблока, словно меня там уже ждал Герасимов и кто-нибудь из первых лиц государства. Пару часов промаявшись томительным ожиданием, все-таки дождался каталку с больным, увидев которую обмер от предвкушения. Но сестры, везущие ее, даже не взглянули на меня. Когда появился Шабаяев, моя надежда воспряла с новой силой.

– Николай Герасимович, уже идти? – спросил я дрожащим голосом.

– Куда? – удивился тот, не сбавляя шага.

– На операцию, – понуро сказал я, понимая, что сегодня в оперблок я не попаду.

– Потом, потом, – отмахнулся хирург.

И скрылся за неприступными дверями.

Я, конечно, расстроился, но веры в благополучный исход не потерял. «Это потому, что я кашлял и обманывал его. Вот он и обиделся». Неприкаянно пошатавшись по отделению, ближе к вечеру вновь атаковал Герасимыча.

– Николай Гераси... – начал было я.

– Возьму я тебя, возьму, – опередил меня врач.



– А когда?

Но Шабает не ответил, скрывшись в своем кабинете. С этого момента вечер превратился для меня в ожидание завтрашнего дня.

На следующий день ситуация повторилась почти в точности, обронив в меня семя тяжелого сомнения. Я даже чуток всплакнул, но увидев невесту Галю, взял себя в руки. И снова стал ждать утра. Новый день не отличался от предыдущего. Шабает отмахивался от меня, и никто, кроме него, не знал, что вопрос о моем присутствии в операционной был уже решен самым положительным образом. Сомнение мое грозило превратиться в отчаяние. Но я все никак не желал верить, что не увижу то, что внутри людей. Сидя на своей кровати, обхватив голову руками, думал, что мне делать. Когда вечером пришла мама, старался выглядеть веселым. Когда она ушла, вновь погрузился в раздумья. И лишь когда стали слипаться глаза, принял решение. Оно было смелым, рискованным и единственно возможным. День выписки стремительно надвигался на меня с тех пор, как я перестал кашлять, чтобы не навлечь на себя гнев Шабаета. Медлить больше было нельзя.

Поутру я уже поджидал заведующего у входа в отделение.

– Николай Герасимович, – смиренно начал я елейным голосом. И так же смиренно добавил: – Нехорошо обманывать.

– Доброе утро, юноша, – ответил доктор, остановившись. – Что случилось?

– Вы сказали, что возьмете меня на операцию. И не берете, – пояснил, опустив глаза. – Обманываете, – обвиняюще взглянул я на него исподлобья.

– Ах ты, ангел бесстыжий, – усмехнулся Шабает. – Ладно, пойдем со мной, не отставай только.

Не чувствуя под собой ног, я бросился за ним, стараясь не обгонять. Предчувствие одного из самых значимых и необычных моментов жизни кипело во мне, заставляя тихонько дрыгать ногами. До операции было еще далеко, но я уже понимал, что мне дадут маску, колпак и халат, какие носят настоящие врачи. При этом я знал слово «скальпель» и почти ничем не отличался от настоящего хирурга. Разве что ростом.

Не успел я толком посмаковать скорое появление хирургических атрибутов, как на меня сменилось новое открытие. Я вдруг явственно понял, что скорее всего являюсь единственным четырехлетним жителем Земли, который будет присутствовать на операции наравне с докторами, а не лежа на хирургическом столе. Единственным! Осознать это было непросто. Все мои жизненные ориентиры пошатнулись. Незыблемыми оставались лишь родители да квартира на Карла Либкнехта.

Следующий час, а может, и больше, я провел в кабинете Шабаяева, всеми силами стараясь скрыть небывалое волнение. Оно то разливалось внутри холодной волной, заставляя замирать каждой клеткой детского тельца, то колело раскаленным жалом, отчего я вскакивал с дивана, переминаясь с ноги на ногу. Время тянулось неимоверно медленно, закручивая пружину ожидания того величественного момента, когда я, вместе с настоящим хирургом, смогу заглянуть в глубь человеческого естества.

Николай Герасимович то входил, то выходил из кабинета, возвращаясь с другими врачами, отрывисто говорил по телефону, углублялся в больничную историю болезни... И совершенно не обращал на меня внимания. Наконец-то, дважды крутанув диск аппарата, сказал: «Пусть Маринка зайдет».

Вскоре появилась Марина, толстая медсестра, при встрече называвшая меня «пупсиком».

- Мариша, одень-ка ангела нашего, он у нас в операционную пойдет, - между делом сказал ей Шабаяев, просматривая рентгеновские снимки.

- Николай Герасимович? - удивленно вскинула она брови.

- Ну, найдите там ему чего-нибудь... Может, врачом будет.

- Ладно, - растерянно согласилась сестра. - Пойдем, пупсик.

Взяв в пухлую теплую ладонь мою влажную от волнения руку, она повела меня к оперблоку, перед закрытыми дверями которого я провел столько часов. Теперь же они растворились передо мной, пропуская в запретное для посторонних царство, где Николай Герасимович Шабаяев дарил жизни своими большими

уверенными руками. Я увидел санитарный отсек, с раковинами, стопками алюминиевых биксов и тележками с инструментами, накрытыми материей, рыжей от частой стерилизации. Усадив меня на крутящуюся табуретку, она велела мне ждать. Вцепившись непослушными пальцами в края круглого сиденья, впился взглядом в створку следующей двери, за которой меня ждал стерильный мир операционной. Сердце мое колотилось все сильнее и сильнее, но страха я не чувствовал. Лишь запредельный восторг и чувство гордости за свою победу...

Помню, как мимо меня проходили врачи и сестры. Некоторые из них замечали ребенка, бросая изумленный взгляд. Не дожидаясь их вопросов, я, твердо проговаривая слова, сразу сообщал, что «мне Николай Герасимович разрешил». «Тогда ладно, коллега», – ответил один из них, усмехнувшись. Из операционной доносился гул голосов, накрытый гудением аппаратуры, а потом появилась и каталка с больным, которую везла одна из сестер. Когда она скрылась в операционной, я забеспокоился. По всему было понятно, что операция вот-вот начнется. И, судя по всему, без меня. Но опасения мои были напрасны. Через несколько минут ко мне подошла Марина.

– Ну, пупсик, давай-ка, снимай свою пижаму и носки снимай, – улыбнулась она, поставив на стол стальной бикс. Вскочив, я пулей разделся, оставшись в одних трусах. Вынув из блестящего цилиндра стерильный халат, сестра ловко закутала меня в него, обмотав завязки вокруг туловища. Фактически она завернула меня в халат, словно в смирительную рубашку, тоже сделав и с бахилами. Потом закрыла мне лицо марлевой маской, крепко завязав тесемки, и водрузила на голову колпак, возвышавшийся над моей головой и сползавший на глаза. Серьезно оглядев меня, вдруг хохотнула и закрепила головной убор, сильно стянув тесемки.

– Не страшно тебе? – весело спросила она сквозь маску.

– Нет! – выпалил я. И на всякий случай добавил: – Мне Николай Герасимович разрешил.

– Да знаю, знаю, – кивнула Марина.

Взяв меня на руки, чтоб не упал, запутавшись в полах халата, тянущихся за мной, словно мантия, она двинулась в секционную, толкнув плечом

разошедшиеся перед нами двери. Шумно сглотнув, я затаил дыхание.

Белоснежный кафельный зал с двумя операционными столами показался мне огромным. Я вцепился взглядом в тот, вокруг которого стояла операционная бригада во главе с Шабаетым. Опустив меня в нескольких метрах от него, Марина шепотом сказала:

– Вот, пупсик. Это у нас тут идет операция на сердце. Сердце у дяди больное, а мы его сейчас полечим.

– А дядя спит? Наркоз? – срывающимся от восторга голосом спросил я.

– Да, правильно. Ведь все знает... – ответила она, вновь подхватив меня на руки. Обойдя операционный стол справа, она показала мне дыхательный аппарат, трубка которого торчала изо рта пациента. Рядом с ним стоял анестезиолог, равнодушно поглядывающий на большие синие баллоны.

– И ты здесь! Сын полка... – произнес он, почесав нос сквозь маску.

– Вы наркоз делаете? – прошептал я.

– Ага, делаю. Даю то есть. Правильно говорить «даю наркоз», – серьезно ответил он, то и дело поглядывая на кардиомонитор.

Подержав меня немного на руках, Марина вновь отнесла меня на исходную позицию, опустив на пол. С высоты моего роста само операционное поле я не видел, жадно вглядываясь в работу Шабаета, которому ассистировала высокая сестра, подавая тому блестящие хищные инструменты в ответ на загадочные непонятные слова, которые тот говорил ей. Не чувствуя времени, я, словно заговоренный, ловил каждое движение хирурга. И вдруг красная струя с силой выстрелила из раны, заливая халат и маску Николая Герасимовича. Его команды зазвучали быстрее, сноровисто замелькали инструменты. Через некоторое время это повторилось снова, будто говоря мне «человека уже разрезали, всем им видно, что у него внутри, а тебе нет». А ведь мне обязательно нужно было посмотреть, во что бы то ни стало...

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/ul-yanov\\_artemiy/zapiski-sanitara-morga](https://tellnovel.com/ru/ul-yanov_artemiy/zapiski-sanitara-morga)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)